

ЕЛЕНА КРЮКОВА

ЮРПОРДВАНК

Елена Крюкова

Юродивая

«Издательские решения»

Крюкова Е. Н.

Юродивая / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832608-0

Юродивая Ксения связывает собою, как живым мостом, Восток и Запад, исцеляет больных, проповедует на площадях, попадает в больницы и тюрьмы, нигде не теряя счастливого дара любви. Как в русской сказке, где Иван-дурак являет себя мудрецом, блаженная Ксения оказывается самой любящей и мудрой в хороводе масок, теней и чудовищ. Роман — попытка вырваться к светлой истине из обреченности бытия.

ISBN 978-5-44-832608-0

© Крюкова Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

Дочь Зимнего Царя	6
Юродивая	9
Стихира небесная	9
Глава первая. Святое Семейство	12
Тропарь Ксении о зачатии ея	14
Сон Елизаветы. Кондак летописца во славу Ксении	20
Глава вторая. Снег жжет босые пятки	37
Стихира Ксении о первом пророчестве ея	37
Кондак Ксении о возлюбленном муже ея	41
Поминальная песнь Ксении о любимом супруге ея	46
Тропарь Ксении о похоронах матери ея	48
Кондак парня из деревни Ильино во славу Ксении	54
Кондак послушницы Желтоводского монастыря во славу Ксении	62
Глава третья. Низвержение Иезавель	65
Ирмос Ксении о мертвой Луне	65
Стихира Ксении о Зимней Войне и первой любви ея	69
Тропарь Ксении о приходе ея в град Армагеддон	75
Песнь Ксении по восчувствованию в сердце ея жизнью иных людей	84
Глава четвертая. Милостыня	91
Кондак Ксении во славу огня Божьего	91
Ектеня Ксении о чудесном спасении ея от всеожжения	94
Полиелей Ксении о подававших на площади милостыню ей	95
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Юродивая Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2016

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016

© Анастасия Кесс, иллюстрации, 2016

ISBN 978-5-4483-2608-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дочь Зимнего Царя

Роман Елены Крюковой описывает юродство в постапокалиптическом мире.

Но какое именно – юродство? Ведь одним и тем же словом обозначается как аскетическая практика, так и девиантная (отклоняющаяся от нормы) модель поведения. Последняя может объясняться сознательным намерением, а может – психопатологией.

Неразличимость двух этих типов для стороннего наблюдателя является принципиальным условием юродствования. Обладающий тайной мудростью аскет должен вести себя так, как если бы он был невменяемым полудурком. Терпеть публичное поношение, надеясь на духовный плод и грядущую награду на небесах. Таково «юродство Христа ради».

Зная об этом по житиям уже прославленных святых, православные на всякий случай к любому уличному «дурачку» относились не только с сочувствием, но и с уважением, нередко величая «божым». Слишком же откровенной имитации юродских черт опасались, предостерегая: «блажит».

Образ главной героини романа Ксении поддается интерпретации и с той и с другой точки зрения. Это подчёркивает периодическая смена лица, от которого ведётся повествование. Поток сознания Ксении (от первого лица) переходит в более абстрагированное описание её подвигов (от третьего).

Ксению легко принять за городскую сумасшедшую, разыгрывающую из себя пророчицу, труднее увидеть в ней женщину-мессию. Ясности не прибавит и указанный выше обычай трактовать как зашифрованное послание свыше поведение человека с ограниченными возможностями.

Правда, возможности Ксении отнюдь не ограничены. Скорее, безграничны. Она выносит зной и холод, любые травмы телесного и психического характера вплоть до смерти с последующим воскресением, обладает способностью к левитации, экстраординарным зрением и слухом, феноменальной памятью, интуицией, даром к внушению, голосовыми данными, пластикой, может перемещать своё сознание в чужие умы...

Эти черты резко отделяют Ксению от хрестоматийного российского юродивого. Достаточно обратиться к драматургии Пушкина, прозе Достоевского и Ремизова, чтобы в этом убедиться. Мало общего у героини Елены Крюковой и с советским кинематографом, и с современным российским, где образ блаженного приобрел оттенок шоу благодаря концертам Петра Мамонова (сыгравшего юродивого монаха и юродствующего монарха в фильмах Павла Лунгина «Остров» и «Царь») и эпатажному поведению актёра-священника Ивана Охлобыстина.

Столь же не просты отношения у Ксении с образами традиционной религиозной культуры. Роман одновременно и апологетичен по отношению к иконам юродства, и полемичен по отношению к тем клише, которые связаны с ним в культуре патриархатного общества. Чтобы оценить это, необходимо сделать экскурс в историю православной аскетики.

Прежде всего, зададимся вопросом: насколько «устоявшийся» образ юродства соответствует задачам данной религиозной практики? Поведение юродивого (или «похаба», как его ещё иногда называли) должно было шокировать окружающих. Но как можно добиться шока, если обыватели оказывались заранее осведомлены, что поведение юродивого – намеренный эпатаж, продиктованный попечением об их же «спасении»?

Выходом из этого тупика является актуализация радикального поведения (см. подробнее в нашей книге «Мистика русского православия», М., 2011, с. 263 – 264). По-настоящему шок воздействует не только когда юродский акт внезапен, но когда сам юродивый не воспринимается как имеющий хоть какое-то отношение к святости.

* * *

Основной метод, который применяется Ксенией для маскировки своего подвига – страстность, глубокая личная заинтересованность в том, что она делает. Безотказный и не зависящий от эпохи способ. Как отличить юродство Христа ради от юродства из собственной прихоти?

Ксения ничего не делает с опущенными рукавами. Едва окунувшись в крещальную купель, она с азартом играет в русскую рулетку, затем танцует в варьете, кувыркается в лимузине с бандитом Симоном, моет полы в нищенском притоне, вынашивает и рождает младенца, сотрудничает с королями преступного мира, пляшет перед солдатами на передовой, собирает ракету на заброшенном полигоне, толкается на свадьбе среди оборотней и вурдалаков... Все эти деяния суть разные векторы великого порыва Ксении – отыскать Христа, которого она на исламский манер именует «Иссой».

Её отношения с Иссой напоминают не смиренное следование за Учителем, а погоню, охоту, ловлю хищником своей добычи. Ксения добивается от Христа собственной смерти как стопроцентной гарантии соединения с ним, но всё никак не может получить просимое. Юродивая вынуждена оживать, вновь возвращаясь в изголодавшийся по её любви мир.

Сама любовь Ксении к миру и его населению питается из того же источника. Это любовь-приключение, любовь-расследование, любовь-квест. Ксения любит всё и вся, потому что боится упустить хотя бы одну зацепку, которая выведет её на след Иссы.

Будучи дочерью Царя-Волка, нищая принцесса Ксения не делает принципиального различия между людьми и животными. Первые часто предстают в обличе вторых, а вторые превращаются в первых. При этом между ними не существует никакой субординации. Люди и звери равновелики в глазах «дурочки», что является одним из столпов единой картины мира, которой наделено её восприятие.

Если приглядеться к артикулированным рассуждениям Ксении, может показаться, что перед нами взрослый ребёнок, избежавший процедуры социализации мышления. Точнее, избравший вместо неё универсализацию своего ума. Детский синкретизм (связывание всего со всем; см. Ж. Пиаже, «Речь и мышление ребенка», М., 2008, с. 259) в сознании Ксении не уступил место анализу. Сознание блаженной сформировалось иным, альтернативным путём, что предопределило её экстраординарные способности.

* * *

Сергей Иванов, признанный знаток византийского юродства, подчёркивает: *«...чтобы юродство существовало, господствующее положение христианства в обществе и стабильность самого православного государства среди его соседей не должны находиться под угрозой. [...] В периоды гонений, когда жизнь проходила в постоянном напряженном ожидании мученичества, не было особой нужды доказывать взрывной парадоксальный характер христианства, а вот когда оно становится государственной идеологией, когда пострадать за веру нельзя и религия рутинизируется, тогда трансцендентный смысл христианства начинает пересыхать, из него исчезает суть – концентрация духовных сил в ожидании конца света, который постепенно перестаёт восприниматься как грозная реальность. И вот тут появляется необходимость встряхнуть общество...»* (С. А. Иванов, «Византийское юродство». М., 1994, с. 187). Между тем, действие «Юродивой», как и ряда других произведений Елены Крюковой, протекает на фоне Зимней Войны, создающей крайне разбалансированную вселенную.

* * *

Это мир перманентного апокалипсиса, о чём свидетельствует и название его столицы – Армагеддон. Зимняя Война выступает здесь как ведущий процесс. *«В Зимней Войне незримо*

участвует вся Земля. Все мы, люди. От нее не отбрыкаться. Она пожирала людей. Мы не можем ее никак прекратить», – поучает Ксению один из главарей международной мафии Красс.

Вот почему Ксения «встряхивает» не просто общество, где что-то угрожает христианству или какому-то иному мировоззрению. Гибель нависла буквально надо всем живым и неживым, двигающимся, дышащим. Поэтому эскапады блаженной выпадают из законов покушающегося поглотить самое себя мира. В силу своей алогичности, поведение Ксении неизбежно выглядит чем-то ещё более жутким, отсылающим к ветхозаветному *«крепка, как смерть, любовь»* (Песн 8:6) и к церковному *«смертью смерть поправ»*. Пляска Ксении предстаёт отвратительной и трогательной одновременно победой растворения собственного «я» над тотальным уничтожением.

Внимательное прочтение книги представляет для читателя эмоциональный труд, сравнимый с просмотром фильмов Кшиштофа Кесьлёвского или Ларса фон Триера. Иногда повествование незаметно покидает жанр романа и переходит к каким-то более древним формам, наподобие гностических текстов или раннемонастырской литературы (типа «Лавсаика» Палладия Еленопольского).

Мышление Ксении сносит не только барьер между человеком и другими биологическими видами, но также между государствами и религиями, не говоря о разных возрастах и социальном положении. Границ в романе по сути не существует, при том, что никто их не отменял. Вероятно, только таким образом можно вывести юродство за рамки узко-конфессионального феномена и показать его общечеловеческое значение.

Роман Багдасаров, религиовед

Юродивая

*«Блаженъ и святъ, иже имать часть
въ Воскресеніи первымъ:
на нихъ же смерть вторая
не имать области, но будутъ
іереи Богу и Христу,
и воцарятся съ нимъ тысящу лѣтъ.
Прочіи же мертвецы не ожиша.»*

Св. Иоаннъ Богословъ. Апокалипсисъ, XX, 5 и 6.

Стихира небесная

Говорила быстро, хрипло, задыхаясь. Горячий воздух крыльями опахивал ее щеки, столбами вставал за плечами. Масляный фитиль лампы потухал, вспыхивал на сквозняке. Грязными худыми пальцами ощупывала собственное лицо, мокрое от слез, отбрасывала волосы со лба.

– Я его видела... Видела, да. Боюсь о нем рассказывать. Ведь он слышит речь мою, может, слово плохое скажу – разгневется, огонь найдет. Народ был при нем, да. Сколько – не помню. Немного. Все больше мужики. Мальчик был один, с румяными щеками, нежный такой. Я запомнила. Он все его рукой за плечи обнимал, гладил по щеке, шептал ему на ухо. Может быть, хвалил. Или тайны передавал. Как меня допустили, не помню. Однажды разрешили ноги ему вымыть. Я раздобыла медный таз, тряпку, синего мыла кусок. Встала на колени и стала мыть. А он возьми и заплачь! И слеза капнула мне на голую руку, вот здесь, у локтя. Теперь на этом месте ожог... смотрите. Пятно, не заживает. Я его целую и крещу на ночь, а то так жжет, что и не заснешь. После того, как я ноги ему помыла, что-то со мной случилось. Иду по зимней улице. Холод, ветер пронзает до костей, снег лицо занавешивает, люди ругаются, скользят, падают в грязь. А я будто по льду не скольжу, а поднимаюсь надо льдом, над наледями, над бурными горами снега – вверх. Лечу, не хуже голубя! И озираю все сверху: не метелицу голодную вижу, не прохожих пьяных, а влажно-синий шар, огромный, лазуритовый. У меня на драгоценности сроду денег не было. А тут будто некто великанский мне его, лазуритовый шар тот, на ладони подносит и шепчет: твой! Бери... И я руки вроде тяну, хватаю... а руки в крови, в ледяной воде, в ржавых подтеках, в дождевом суглинке... И я кричу: отдай! Отдай мне мое, кровное, мою красоту, мою жизнь! Жизнь мою отдай! А великан невидимый хохочет страшно. Хохочет во все горло. А меня будто швыряет вниз, оземь, и я лежу на земле, катаюсь по насту, по вымерзшим камням. Сую голову в сугробы, снегом давлюсь, лбом колочусь о мостовую: живая! Живая! Хоть в страдании, хоть в лютом ужасе – отдали мне мою землю, отдали! И прямо в серо-сиреновом, нежно-синем снегу сажусь, скрючив ноги, подобрав лодыжки под себя, и, подняв руки, кричу: вижу все! Провижу все до конца, дотла! Вижу будущее ваше – всех насельников земли, всех, кто ест и пьет и любит – только здесь и уходит во тьму, забывая, что за здешним бытием есть иное счастье...

Скрючилась; уткнулась лбом в колени.

– Очень ярко вижу все. Яркий свет. Ослепительные краски.

Лица и руки людей, события, площади, зрелища – не могу передать, как все нестерпимо, как больно. Только глаза сомкну – рушатся на меня, давят. Кто-то вселился в меня, и чужое

сердце сильным светом распирает меня изнутри. Будто я беременна всегда, всегда – светом. А родить его никогда не смогу. Никогда. Только кричать о нем: внутри он, внутри меня.

Перевела дух. Заледенелые ветки били в подслеповатое окно. Комната напоминала ей пещеру – древнюю пещеру, в которой люди обращались в древнюю веру, где горячо молились, плакали и умирали.

– Я не верю, что умру – это слишком больно. Что-то от меня должно остаться в жестоким мире. Ребрышко, косточка... душа. Маленькая птица, которую выпущу из рукава. Тряхну рукавом – и полетит! Оглянусь – а это я сама уже лечу, лечу, плачу и прощаюсь с этим миром, не успев еще в нем пожить, всласть порадоваться, попить, полюбить. Ну и пусть! Знают, пробил мой час. А вы, люди?!.. Вы, кто смотрит на меня, надув щеки, скалясь в глумливом хохоте, глаза вытаращив, пальцами показывая! Вы разве час свой знаете?! А я – про вас все знаю! Кто ж в этом виноват! А вы! – пинали, толкали, насмехались, в лицо плевали! Корку выносили засохшую с черного хода, с потайного выхода! На! – поешь, подавись, крохой пробавься... Но правду про нас – замри, нишкни! Запрещено правду! Боимся мы. Всего: правды, будущего, себя. А тут некая душонка, кощенка приبلудная, вздумала нам картины живые показывать, провидеть да пророчить. Хитра! Это мы, мы сами ей напроорочим. Схватим, руки за спиною скрутим да глотку тряпицей забьем, чтоб молчала. Чтоб замолчала – навсегда.

Далеко, тоскливо выл снежный ветер. В мире царила зима, и ее было не избыть. На круглом старом столе – по столешнице шла, вилась полустершаяся роспись, позолоченные крюки, аграфы, птичьи когти – стоял кувшин с холодным молоком, лежал ржаной каравай на равной газете, восково отсвечивала початая бутылка с постным маслом. Невидящими, шаряще-слепыми руками говорящая схватила кувшин, плеснула молока в пустую чашку с отбитыми краями. Припала жадно губами. Молоко влилось в глотку, давая силы жить, давая надежду не умереть.

– ...а то, что люди любят?.. Что это такое?.. Да, я ходила за ним по пятам, слушала, ухо склоняла: может, он разъяснит, почему одною рукой ласкают, другой – всаживают кинжал под ребро по самую рукоять. Хотя что мне было разъяснять. Я это с детства знала. Да что там с детства: еще до самого рождения. Все очень просто. Одни люди убивают, другие любят. И те, кто убивает, уже не полюбят никогда. А те, кто вынужден убивать, любя, – сходят с ума. Или перестают быть. И я пою им песни. Им. Посмертно. А я так устала вопить над гробом. Не могу больше петь погребальный плач. Высох голос. И слез уже нет. Иссохла я. Вылилась, как кувшин! Ни капли молока. А живые люди, простые, не только измываются, но и приползают, просят: помоги, излечи, отведи... А руки, руки-то мои!.. Ведь они же узлами покрылись, вспухшими жилами, страшно посмотреть... Они уже не могут снимать боль, отводить беду, исцелять... Рученьки мои!..

Подносила их к лицу, целовала, ужасалась им. Пальцы, сведенные судорогой времени, дрожали, сжимались в кулаки.

Она была совсем одна в темной, заставленной старой мебелью, наводящей страх комнате.

Она не была уверена в этом до конца.

Кто-то черный стоял, маячил в углу, подсматривал. Дышал – еле слышное дыхание она улавливала ноздрями, кончиками чутких пальцев. Она понимала, что она сама является носителем Духа; Дух, супротивный ей, находился поблизости, с нею рядом, и она не могла угадать его природы, воспротивиться ему, приказать ему исчезнуть.

– Я вторая... я вторая, – бормотала несвязно. – Первый – уже был. Первый – уже есть. Я лишь воплощение. Я лишь исполняю Приказ. Кровь моя запомнила имя его, а рот не может, не умеет его повторить. Хотя все это имя поют, кричат, шепчут, выплакивают вокруг меня. А я, как нарочно, зажмурюсь – забуду. Ибо не хочу быть, как все. Ибо – не могу быть, как все! Ибо я, посланная и востребованная им, есть как он, есмь от него. Значит, надо держать имя в тайне.

В молчании. Потому что растреплют. Разнесут и развеют по ветру. И клочка не останется. А мне надо сохранить его и донести. Чтобы ветер не задул.

Он взвыл за окном, резкий ветер. Его злоба была пугающая и неодолима. Она, сгорбленная в тесной каморке, захотела встать грудью против густо ревушего чудовища – разбить пузыри стекла, телом высадить дверь, ринуться под падающую железную стену холода, под ливень звезд. Тесный мир, жалкий. Там простор. Здесь... Она не двинулась. Тьма пыточными сапогами обняла ноги; словно сладким диким медом налилось – не повернуться! – тело. Одна ли она томилась в каморе? Она не знала. Не знала она и времени. Перед глазами ходили большие цветные круги, колеса, петли, свивались и развивались. Если это был бред, то он был слишком ярок и весел. Если это было явью – почему ей не было конца?!

– Ветер задует... ветер задует свечу. И тогда меня не будет. А я должна ее донести. Господи!..

Черная тень из угла прянула ближе, ближе к ней.

Упала на живот. Раскинула руки в обе стороны. Пальцы-крючья, изработанные, выжатые жизнью – ни сока, ни кровинки, – стригли, ловили воздух. Золото волос прибойной волной зашуршало по дощатому полу: седые и золотые нити прожигали черный копотный воздух. Крутой лоб прижала к ледяным половицам, к плохо струганной доске. Ждала. Тихий всхлип. Еще. Еще один. Женщина плачет всегда. Женщина и слезы – это венец Господа.

Внезапно вздернула залитое слезами лицо. Крикнула:

– Эй! Ты! Кто спрятался! Выходи! Не боюсь тебя! Мое тело – для земли! Моя душа – для неба! А тебе и ноготочка не отломится! Дай тебе в лицо поглядеть! Выйди, ну!

Ветер завыл сильнее, стекло вылетело, и осколки разлетелись по тьме каморы. Шаги. Шаги ближе. Ее берут за руки, хватают за ноги, за лодыжки, икры. Закатывают рукав. Гладят по мокрому лицу. Забирают волосы под суровую ткань, завязывают платок на затылке. Кладут на глаза повязку. Повязка сыра, обжигает, от нее тянет горечью полыни, сонным дурманом. И перевитый жгут надлоктевой жилы обжигает слепой острый клюв. Ее... связали. Ее... посмели?!.. Опять посмели?! Опять – через столько веков... через горы т а к о г о времени?!..

И перед тем, как упасть в бездну, она увидела – ослепительно и торжественно, протягивая вперед голые руки, она шла навстречу себе самой по облакам, нежная, смуглая, молодая, без единой морщины, и золотые волосы летели за спиной светлыми крыльями, и босые ступни осторожно щупали всходящее облачное тесто. Она ринулась к золотой: это же я, я сама!.. Кто, как птицу, выпустил меня в небо!.. Меня же здесь – на земле – избивали, сломали, изругали, изничтожили, забросали, грязью, снегом, камнями, горящими головнями!.. Выбирали ругательства отборные, ладили цепи чугунные... А тут – вдруг!.. – и не чаяла сон такой увидеть... Душа моя!.. Душенька!.. Девочка живая, невредимая!.. Возьми меня с собой, не уходи навек!.. Я без тебя – не я буду, а тело брэнное, жалкое, на потребу миру слепленное из непросеянной, из волглой муки...

Золотая шла спокойно и торжественно – неостановимо.

И в то время, как падал, свистя, черный полог, все птицы мира, все ангелы, херувимы и серафимы вспорхнули из облаков и запели вокруг золотой.

Глава первая. Святое Семейство

*«Святая и Вселюбящая
Жительница небес пресветлых,
Заступница всех страждущих и скорбящих,
радость Великая всего на свете живущего,
благодарю Тебя за жизнь,
Твой Царский подарок».*

Ирмос св. Ксении Юродивой Христа ради

*(РИСУНОК К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ: ВЕТКА БАГУЛЬНИКА – СИМВОЛ
БЛАГОВЕЩЕНИЯ)*

Не родители выбрали Ксению. Ксения выбрала родителей.

Мать ее мыла полы в столовках и больницах в старинном сибирском городе, где в морозы резные наличники так покрывались густым куржаком, что виделись белой славянской вязью на слепяще-синих страницах небесной Книги. Руки Ксеньиной матери вечно болели от соды и горячей воды, и она мазала руки то кусочком сала на ночь, то растопленным бараньим жиром. Жила мать в чулане при больничной котельной, радовалась теплу, маленьким денежкам за свой полумоечный труд. Ксеньина мать не знала, была ли она красивой девушкой, да и женщиной была ли – не знала, – до той поры, пока Ксению не родила. Ходила она в дедовском тулупе – зимою (на морозы имела самосшитые, изрядно траченные молью унты); в перекроенном в духе платья больничном халате – летом. Мужчины на нее не глядели – слишком серым, тающе-дождевым было ее тихое лицо.

Однажды, наработавшись, она тяжело, беспросветно уснула в своем чуланчике, не сумев раздеться – до того устала. Трамваи бубнами гремели за окном, невероятный мороз судорогой сводил рельсы. Провода, отягощенные куржаком, расчерчивали чернь неба на ломти, утыканые алмазными изюминами звезд. Ксеньина мать спала сладко и мертво, как зверь после счастливо миновавшей погони. Рука ее привольно свешивалась с кровати, скрипела панцирная сетка, гудела в трубах горячая вода, пахло в чуланишке мешковиной, кашей в накрытой тряпками кастрюле, пенициллином. И в то время, как вздохнул и честно спала она, без всяких сновидений, дрогнула забухшая дверь, подалась, заскрипела, и всплыл в чулан нежный ангел с веткой багульника в кулаке.

– Елизавета! – Так Ксеньину мать звали. – А Елизавета! Спишь... Вот багульник возьми... Цветы его бирюзовые. Дочь твоя бирюзовыми глазами снега великие прожжет. А сколь слез из очей ее вытечет!.. – будут падать на снег и в белых голубей обращаться... Вот, знай: она сама явилась ко мне и пальцем на тебя указала: мол, эту женщину в матери хочу. Ты готовься, Елизавета. И не страшись. Удел материнский выше всех. А то, что дитя выпустишь в снег и мороз на страдания, – зачтется тебе.

Замолчал ангел, любясь спящей. Ксеньина мать, Елизавета, вздрогнула всей кожей во сне, охнула, на спину с живота перевернулась. Но не проснулась, не разомкнула век. Ангел положил холодную ветку багульника ей на грудь. Перекрестил спящую. И вышел, улыбаясь.

Подвыпивший больничный сторож, раскуривая на морозе «козью ножку», видел, как выгнутое черное литое железо неба опажнуло крылья неведомого сияния. «Северное, должно, сюда добралось», – выщедил он, сопя, дымя махрой.

А Елизавета, пробудившись, так вцепилась в ветку багульника, что ногтями до крови продавала мозолистую ладонь.

Она испугалась. Она совсем не думала о ребенке. Она знала твердо: бедность, голодуха, гроши на ржаной хлеб и колбасу, на чай с сахаром, картоху с постным маслом. Она любила своих лежачих больных, под чьими койками мыла и драила, с чьих тумбочек смахивала пыль и крошки от печений. Она прикармливала собак на улице, гладила кошек в сырых подъездах. Она – станет матерью?! Невероятно. Кто сужден ей – муж, возлюбленный? Как обнимет ее – на руках понесет или будет мять, терзать? Кто будет он – больничный повар, истопник, рубщик мяса на рынке?.. Никто и никогда не глядел на нее. Не брал ее за руку. А тут – родить. Ведь это должен круглиться живот, тяжелеть и шевелиться поющее чрево, и вся она должна светиться, как лиственница в инее, зимой, близ Одигитриевской церкви, как облепиха на солнце, в рыночном граненом стакане! А больничные зеркала все отражали, отражали, настойчиво и навязчиво, санитарку Лизавету, серую мышь.

А мир вокруг Елизаветы был чернее медвежьей шкуры – ночью, ослепительно-молочным, берестяным и заиндевелым – днем, и она, спеша с работы на работу, скользила и падала на черном льду, не понимая, что кончается и останавливается, как уработавшийся локомотив, ее жизнь. Жизнь ее ей, Елизавете, не была особо нужна – видно, она была нужна Богу (порой Елизавета и забредала в Одигитриевскую церковь, но не от веры и жажды, а так, от скуки и боязни тайного греха – а вдруг все же и на нее глянут краем строгого византийского глаза, присмотрят ее?!..), а Бог был нужен полемойке, видать, больше жизни.

И вот однажды, красным зимним вечером, из-под палачьего колпака ночи вышли две лезвийных, острого прищура, звезды, а за Елизаветой в ее каморку увязался то ли человек, то ли огромный волк с дыбом поднятою шерстью на загривке. Снег махал белой ладонью перед глазами, визжал под ногами поросенком в виду ножа. И Елизавета отмахивалась от волка. Он ей не был нужен ни в какую. Но пушистый, драный воротник топорщился у нее за спиной, за возмущенными лопатками, не отставал. Глаза у человека-волка были детские, сияющие, желтые, узкие, как санный след. Смуглое лицо приближалось к Елизавете и источало дикое тепло.

– Ах ты батюшки!.. – крикнула Елизавета, вконец рассердившись. – Куда ты за мной, дурень!..

Дурень взял ее за худую руку и крепко сжал. Да так и не выпустил до самой двери ее лекарственного чуланчика. А вырваться она не смогла.

Он вошел с ней вместе, он закрыл ей рот своим ртом, и явственно запахло волчьей старрой, мокрой шерстью, и в воздухе вокруг их фигур встали синие искры. Елизавета не сопротивилась. Ее худое тело совершало дивный старинный обряд, и под ногами у них, над головами летали не пыль и паутина, а парча и виссон. Елизавета вспомнила Ангела, к ней приходившего, и порадовалась тому, что все получается так быстро, без мучений, без ожидания.

Среди ночи, черной, воющей, пробудилась она. Привстала на локте. Огляделась. Человек, лежавший рядом с ней, был прекрасен. Тень от ресниц ложилась на скорбный юношеский рот. Из-под платка с золотой нитью, обвязанного вокруг лба тюрбаном, вились на голые плечи, на широкую грудь русые, с проседью, волосы. Бугристые, корневищами, жилы вздувались на сильной красивой руке, лежавшей поверх драного верблюжьего одеяла. Простыни сбились в комок к легким, сухим щиколоткам, и законные звезды вперемешку с самоцветными сугробами горько освещали лепку и линии крепких, охотничьих неутомимых ног – ног бегуна и царя. Яркой слезой солено, серебряно блеснул крест в яремной ямке. Человек дышал тяжело, глубоко. Елизавета перевела взгляд: на полу валялась вывернутая наизнанку волчья старая доха, чуть шевелилась. Под порывом зимнего ветра отворилась форточка. Донесся лай больничных собак. Елизавета соскользнула с ложа, упала всем телом в волчью доху, утонула в ней, обнимала ее, целовала.

А царь зимней земли спал сладко, сладко.

Тропарь Ксении о зачатии ея

...да, это было в полусне. То ли сон, то ли... смерть. Ущипнуть себя и проснуться. Да, я помню себя – еще до своего рождения. Я помню свое зачатие. Я смогу вам рассказать... не троньте меня. Рядом с моей матерью лежал человек такого царского виду. У него... были длинные, как женские, косы, темно-русые волосы, золотая борода... на затылке – косичка тонкая... щеки смуглые. То ли юный Будда, то ли Исса, переживший свою казнь и возродившийся. Я еле видела его в морозном тумане, заволакивавшем чулан, где спала моя мать. Моя мать? Она мыла полы в госпиталях... по воскресеньям – торговала семечками на рынке, а иногда ей поручали еще поторговать и облепихой. Я тогда над ней в ином пространстве, в воздухе, носилась и все видела: как она зачерпывает коротеньким граненым стаканом облепиху из мешка, слепяще-оранжевую, сходную по цвету с кетовой икрой, как греет нос варежкой, зазывает народ: подходи! не ленись! солнце-ягода собрана надьсь!.. – как к ней хозяйки подбегают, поджимаясь на морозе, как зайчихи, тянут кошелки, кулечки, и мать моя облепиху им щедро сыплет, с походом, а на красных ее щеках мерзнут, замерзают слезы – от ветра култука...

И как она полы драит в палатах, где смертники – видела... И как она в храме стоит, свечку через толпу старух передает к Казанской, как водочку опрокидывает, под бруснику, в деревянной столовке на берегу чистого ледяного озера, как оmyвает слезами плоскую и жесткую ватную подушку – все видела... Мое зачатие – вот оно. Этот человек был волчий князь, лесной Будда, охотник Орион, нищий. Давно когда-то он убил трех маралух; давно бегал по всей земле с кровавым колчаном, и все живое боялось его. Он стрелял в Солнце, в Луну. Он слушал по ночам дикую музыку басовой круглой железки, называемой охотниками хомуз. Его глаза светились в темноте. Я захотела его в отцы. Мне сказали: то, что ты желаешь, исполнится. Иди и свидетельствуй. Я испугалась. Я не знала, что нельзя глядеть на своих отца и мать, когда они распоряжаются твоим появлением, но я чувствовала: не надо! И я услышала и увидела Божью улыбку. Он сказал мне: может быть, ты единственная, первая и последняя из смертных, кто будет э т о видеть и знать. Может, я н и к о м у больше не разрешу. И я... согласилась. Я видела – и запомнила.

Волчий царь, мой отец, сорвал с моей матери все одежды. Он положил ее на бедняцкое ложе и целовал ее тело так, как будто молился ей. Так обнимали жертвенный камень первые люди, ощупывали на нем слепыми от любви пальцами надписи, выбитые и выточенные предками. Мать протягивала царю ноги, руки... закричала, когда его живот коснулся ее живота. Я вздрогнула и напряглась. Я знала, что сейчас мне надо будет войти в лоно. Все во мне заметалось. По каморке заходили вихри. Стержни моей жизни восстали, вонзились и взорвались. Мать превратилась в одно сплошное объятье: тесным горячим бочонком округлилась она вокруг того жилисто-нервного пространства, бьющегося, кричащего, летящего, которое звалось уже моим отцом. И в этом живом бочонке уже летел по морю, бился царенок – я! И мне было больно! И мне было страшно делиться надвое, натрое, чтоб росли и вырастали руки, ноги, пальцы, веки, зрачки, чувствилища души! Зачем – тело?! Зачем оно, смертное, корявое, хрупкое, где каждая жила – боль, где каждый волосок – огонь?! Мне было чудесно плыть по молочной реке. Зачем вынули меня из моих Божьих пелен, – чтобы заворачивать в окровавленные грязные тряпки?! И до сих пор не ведаю: это наказание или благо? Может, жизнь земная – это и есть сама казнь, огромный Крест, и каждодневны и неизбежны молотки, гвозди, крики черни, ругань и смешки солдат?! Я вливалась в тело матери. Ее живот содрогался, загорался и гас и снова воспламенялся, рот шептал огненные слова. Хочу, желаю, люблю, и еще и еще люблю и желаю. И вся жизнь людская в этом; люблю, желаю, а потом черный платок накидывают, как на канарейку, – и конец.

А кто-то из древних цариц сказал, слышите ли?! – и даже вышил гладью по шелку:
В МОЕМ КОНЦЕ – МОЕ НАЧАЛО.

И они двое, мой отец и мать, были уже во мне одной, и я была внутри матери, и я была вся – сплошная боль и больше ничего, а маятник больничных, чуланных часов над материнской головой вдруг проснулся от вековой спячки и начал отсчитывать, звенеть: донн-донн, донн-донн. И я слышала этот звон, уже в материнском теле, – я сидела изюмом в волглом тесте бытия, – и в свое время изголодавшийся Бог должен был откусить именно тот кусок, где застряла черная, сладкая ягода, сушеная ягода рынков, полных гомонящих птиц, воровская – рукой из мешка! – ягода бедняков.

Часы стали отсчитывать мое время.

Мое время.

Время.

Беременная Елизавета была похожа на сугроб. Ей все труднее становилось мыть полы, нагибаться, отжимать тряпку, орудовать шваброй. В солнечные теплые дни она уходила на берег чистого прозрачного озера, гигантского и всевидящего, как глаз Космоса, сидела там молча, пряла грубую, с засохшими осаами, мухами, опилками, сеном, крестьянскую шерсть на ручной маленькой прялке-крестовине, иногда пела нежные песни ни о чем. О том, что вот озеро, она сидит на его берегу и глядит в его воду, а там плавают жирно-желтые рыбки голомянки, и сквозь них видно водоросли и камни, такие они прозрачные; о том, что пьяная она от синего воздуха и от снежных облаков, от медленного и важного хода времени; о том, что дитя медленно, как время, ворочается в ней. Голос ее то резко, чайкой, летел над озером, то ниспадал до шепота.

И так прошел земной срок.

Ей наступило время родить. Она металась по улице. Зима опять вдувала ей круглые твердые жемчуга в космы, торчащие из-под дырявой шаля. Раскосая дворничиха на минуту прекратила колотить чугуном ломом древний лед, пошарила в кармане фуфайки и протянула ей надкусанное яблоко. Это был знак любви. Она откусила от яблока и схватилась за живот. Это были настоящие схватки, а она страшилась идти в больницу, потому что знала – у нее нет ни конфет, ни водки, ни разноцветных бумажек, от вида которых люди или живут, или умирают.

И она села в снег и громко, жалуюсь всему небу, закричала:

– А-а-а-а! А-а-а-а-а!

Люди обтекали ее, кричащую, черной рекой. Никто не подходил к ней. Хоть бы кто наклонился, уцепил за плечо, засмотрел в лицо. Или дернул за руку, поволок, выругался. Она никому не была нужна.

– Я Елизавета! – закричала она. – И мне так больно, больно! Спасите меня кто-нибудь! Мне холодно в снегу!

Лица людей были безучастны, выписаны тонкой беличьей кистью мороза. Они двигались, как форели в ручье. Сквозь толщу холода просвечивали глаза, зубы меж губ – в улыбке или гримасе отвращения. Мальчик с коньком в одной руке, с лаптем – в другой, пронзительно свистнул и заорал:

– Спятила! Спятила! Дурочка! Дурочка!

Перед глазами Елизаветы стали расцветать, разрастаясь, веселые красные маки, и она вздохнула и повалилась на бок в сугроб, на обочину. До ее слуха все смутнее и глуше доносились визги и скрежеты машин, цоканье бесстрастных каблучков по льду, людское оканье и хихиканья. Она быстро, с улыбкой проваливалась в густой и тяжкий багряный полумрак, где перламутровой раковиной светила изнанка ее живота, где переплетенья красных живых водорослей с натугой рвались и вспыхивали, разрываясь, и каждый перевитый разорванный лист вопил красным ртом. Сочленения расходились, скрипя и плача, и все парчовые ткани, развышитые

алым и розовым серебром, безжалостно вспарывались диким ножом в виде длинной сельди. Она в и д е л а Того, кто держал нож, но только почему Он был внутри нее?!

А это что, Боже?! Своды пещер расселись и подались в стороны рачьими клешнями, Белые Воды хлынули и затопили грязные снега, башенные сугробы, сапоги и валенки жестоких людей – они ничего не желали знать о Ксении, но Ксения шла водой, Великой Рекой, смывающей все на пути! «Ксения, Ксения,» – шептала мать сухими льдистыми губами. Белые Воды сменились Алыми – кровь хлынула из всех расщелин и оврагов вымершей, отвоевавшей земли, освобождая ее и насыщая. И сквозь скрещенные пламенем кости и хруст хрящевых сучьев пошла, пошла, пошла по Великой Реке прямо к замерзшему северному устью таран-рыба, меч о руках и ногах, мясо времени надвое разрезающий – на дикое, вмятое, родное до боли Простое и позабытое, высохшее, чужое Будущее, непонятное и страшное, как пустая раковина! Рыба рыла носом и теменем плотный студень затянутого красной ряской морского заберега, ибо Река уже вышла из устья, и Простор дышит лютым холодом в затылок и надбровья! Рыба била хвостом, плавниками, грудью по плывущим мимо красным льдинам с жестокими зазубринами подталых закраин! Вперед – это закон. Море. Простор. Страшное, пустое небо, где золотым ослепительным коршуном висит Солнце. И воздух – жабры раскрываются, и вдоль всего тела страдной плетью – слепая боль: ей завязали глаза и уши, оставили открытым и свободным только рот – глотку, что может во всю мочь кричать – безостановочно и безысходно.

– А-а-а-а-а!

Крик не удержался за створами плотно сомкнутых, потом внезапно раздувшихся жабр, и Рыба, ударив хвостом, понесла человеческий пронзительный крик, неистовый вопль в седую сутемь Простора морских снегов без берегов.

Здравствуй на множество лет, дитя мое роженое, как долго я тебя ждала, как мало я тебя носила, как я буду тебя сначала любить и кормить на этом свете, пестовать и вынянчивать, потом – ненавидеть: за то, что ешь и пьешь не так, за хахалей-охальников, за болезни: устала горло тряпкой обвязывать – сама вяжи! устала медом с ложки кормить – сама лучше съем да облизнусь!.. – за то, что громко говоришь, сапоги быстро изнашиваешь, а новых на свои деньги не покупаешь, – устану я от тебя и возненавижу вконец, и прокляну, и плюну сперва тебе вслед, а затем и в лицо твое бесстыжее, срамное, с моим сильно схожее, и утрешься ты и захохочешь, и увижу я белые зубы твои и смеющийся нагло рот у самых своих, подернутых пеленою ненависти, глаз, – и подниму я на тебя руку, а ты на меня нож поднимешь, рыбацкий, длинный, коим чешую скребут от хвоста к голове, – и снова крик мир потрясет! Но лучше-то для меня, чтоб этого не было никогда, потому что это будет неизбежно, потому что все мы, люди, наделены с избытком даром ненависти. Ангелы во плоти есть среди нас, есть. И, беря тебя на руки свои дрожащие, ребеночек мой рожденный, изможденный, я помолюсь о двух вещах. О том, чтобы ты была Ангелом. И о том, чтобы меня Бог быстро прибрал: чтобы я позора своей ненависти ни в битых зеркалах, ни на дочкином лице никогда не увидела.

Иди ко мне на ручки... дай схвачу тебя, дай!.. Скользкая ты, Рыбка, не ухватишь... рвешься наружу. Холодно там! Мороз! Колокольцы льда звенят. Отрежь им хрустальные ниточки. На грудь мою... на. Куда вырываешься?! Шас шлепка дам! Смирно лежи... смирно. Цепляй сосок: молоко метели в нем, сахар злой пурги.

Дочь ты мне или кто?!

Дочь! Так и есть!

Ешь! Кормись! Все когда-нибудь слягут, устав идти, и выюга заметет их. И меня тоже. И тебя. Я мать, твоя еда и жизнь. И еще никто на свете не выжил без меня, а умирает – все меня одну зовет.

Кто обрезал и завязал ей пуповину? Мороз? Рядом взвизгнули колеса, притормозив. За льдом звякнувшей дверцы – сытые румяные женские щечки, намазанные губки, духи,

серьги: возвращается домой со свадьбы, с простой человеческой свадьбы, где царили бутерброды с красной икрой – а может, это была облепиха! – и грубо, кусками, накрошенный омуль, и айсберги сине-запотелых водочных графинов, крики радости и море слез, и вот гости, навеселившись, едут домой – утонуть в теплых перинах, разомлеть, все забыть. Растерянный мальчишка стоял перед закинувшейся Елизаветой: навзничь лежала она возле разметанного сугроба, на животе у нее, на порванных юбках, копошился голый младенец, ярко-красный, как заморское вино. Мать ловила его невидящими руками. Пальцы ее крючились на морозе. Она бормотала:

– Ксения... Ксения!

Парнишка озирался затравленно. Румяная молодуха вмиг выскочила из бензиновой повозки, ринулась к Елизавете – и заблуждала на весь свет, прямо в поднебесье:

– Люди добрые, да что ж вы творите! Сволочи! Тут баба на снегу девчонку родила! А вы! Эх вы, люди! Людишки вы, вот кто! Людоеды!

Обернулась на мальчонку:

– Что встал, как жердь?! Помогай!

Мальчишка схватил на руки младенца, молодуха подхватила под мышки Елизавету, они вчетвером поволоклись к разъявленной утробе машины, где барахтались, ворохались бессильные, пьяные мужские тела. По изъеденному сажей снегу за Елизаветой тянулся красный след. И, пока молодуха тащила ее к машине, из-под стрехи слетел голубь и клюнул ком красного снега.

Мужчины вывалились из машины на ледяную дорогу, ругаясь, стали заталкивать Елизавету внутрь, в шкуры и пахучие кожи сидений. Мальчишка протянул жалобно младенца. «Возьмите, возьмите!.. А я-то с ней-то куда!..» – забормотал, носом зашмыгал. Розовощекая молодуха рванулась к нему, соболя шуба ее распахнулась, в мочках синими копыями сверкнули алмазы.

– Давай!.. Давай сюда скорей, нескладуха!..

Парнишка протянул новорожденную. Молодуха живо скинула шубу и крепко закутала орущую девчонку в соболий мех, подбитый белым атласом.

– Грейся, грейся... согревайся, дуреныш... – зашептала подвыпившая красавица в алмазах, прижала к себе маленькую и заплакала. Зашмыгал сильнее мальчишка. Елизавета стонала во мраке машины, мужики ругались, кричали розовощекой: «Езжай!» Она нагнулась, нырнула во мрак, бросила руки в перстнях на руль.

– Вот она на улице родила! – Обернула прекрасное, залитое слезами лицо к первому матерщиннику, закусил малиновую губу, – а я... вечно высохший бобыл, бастыл. Вечно на чужих свадьбах гуляю, чужие крестины сбрызгиваю... Через край уже! Пролилось! – Колеса резко крутанули на льду. – У этой бродяжки счастье, а я?!

Машина мчалась вперед. Тьма стремительно заглатывала белые, в инее, деревья на обочинах.

Так появилась на свет Божий Ксения, дочка зимнего царя. Елизавета оказалась великолепной матерью. Она шила девочке распашонки из списанных больничных халатов, мастерила игрушки из ореховой скорлупы и еловых и кедровых шишек, а однажды украла на рынке у торговки мехами Любы большой кусок медвежьей шкуры с еще не высохшей мездрой, выделала сама и сварганила доченьке шубу на морозы – как у взрослой: с оторочкой, с воротничком шалью, даже с муфточкой. Вместо кровати у Ксении была огромная корзина, сплетенная из добела ободранного краснотала, вместо коляски – крохотные санки-розвальни, найденные Елизаветой на городской свалке и самодельно расписанные масляными красками в духе старинной кошевки. Она сидела в расписной кошевке краснощекая, улыбалась во все личико беззубым ртом! Зубки появлялись, как чесночинки: один, другой, третий. Елизавета крепко

ухватывала веревку от розвальней и бегала туда-сюда по наледям, по утоптаным тропинкам, катая дочь, смеясь во все горло. Ксения тоже хохотала, как от щекотки, требовала: «Еще!..» А то забиралась мать с нею на гору и пускала санки вниз, с отвесного страшного косогора – к реке, в синь и ругань ворон, и снопы лучей ударяли вверх, в Ксеньины глаза, из каждой застылой снежинки косогора, со dna оврага. Зальделая река подставляла бело-молочный жесткий живот целующему ее Солнцу, и лицо Ксении вспыхивало, озаряясь сумасшедшим весельем, когда санки летели навстречу реке. Ветер налетал или буерак подворачивался под полоз, Ксению вышвыривало лицом в снег, и ей казалось, что она упала на ежа! «Матушка, матушка! – вопила Ксения торжествуяще. – Я наелась снежного сахара!» Чистые просторы слепили зрачки, а вдали, за перекрестьем рек, чадили скелетные трубы заводов, внутри которых, в чанах и автоклавах, варились, глухо булькая, жизнь и смерть.

Ксения знала многое. Она знала, что под грязно-исполосованным льдом есть играющий изумруд воды; что летом в глинистых обрывах над рекой роют норки ласточки-береговушки; что из перламутровых раковин перловиц, в изобилии находимых на отмелях-залысинах, можно делать для красоты замечательные бусы или серьги, такие тяжелые, что уши могут отвалиться; что елку в Новый год надо ставить не в крестовину, а в банку с песком, а песок поливать усердно, тогда елка пустит нежные иголки и смолистые шишечки, похожие на почки; что сойки едят мясо, как дикие кошки, а синицы клюют кусочек сала, если им привязать его к дереву ниткой; что, когда гадаешь, надо класть кольцо в стеклянное блюдо, а под блюдо насыпать пепел, а по обеим сторонам зеркала ставить свечи, и тогда можно увидеть на дне блюда, в кольце, лицо того мужчины, что возьмет тебя замуж; что звезда Сириус – живая, а звезда Марс – холодная и мертвая, но когда-то тоже была живая; и еще знала Ксения о том, что душа человека – это бабочка, и она вылетает на свободу, когда куколка человеческого тела скукоживается и трескается, умирая.

Чернь вечера. За окном – багряная, мятная марь. Медовый, золотой цвет лампы в чуланчике льется сладким ручьем, растекается по мышиным, утлым углам. Колченогий стол Елизавета прикрыла от стыда штопаным вдоль-поперек одеялом – им в больнице никто не хотел более укрываться, потому что под этим одеялом умер человек. А они с Ксенией на одеяле ели и пили, Елизавета вязала, вертела Ксении игрушки, раскладывала шитье – старые халаты, хирургические фартуки начинали жить по-новому в испачканных, чутких, нервно-сухих пальцах. Ксения ворочается в корзине; вздыхает. Мать подходит, садится у изголовья на табурет, нежно глядит в лицо своей спящей. Разметалась, и ручонки в стороны, и живот – круглый абрикос. Тельце, кровушка. Жизнь. Что ждет? Маятник, оживший в ночь Ксеньино зачатия, стучит: деревянные костяшки руки Времени, ляг лошадиных подков, ночи суровые, Конь Блед. Дитя спит. Ей что. Закричит – мать тут же картошки даст столовую ложку, еще теплая, в бидоне, укрытом тряпками. Осторожно и скорбно, как кисею или батист, берет Елизавета кончиками пальцев шершавое дочкино одеяло, натягивает ей до ушей. Холодно. Во все щели дует. О проклятый мороз! О, благословенный мороз... Довелось родиться в этой земле – так терпи. Елизавета на цыпочках возвращается к столу, грузно опускается на стул и смотрит, смотрит дочери в лицо, как бы прощаясь. Тяжелая ткань штора пахнет пылью. В углу сидит серебряная мышь, вежливо глядит бурмистринками глаз на мать и дочь, на золото-багряную икону в углу, на набор побитых шприцев Жанэ на покосившихся полках, на кованный сундук, где санитарки тряпки и тапки лежат. Мышь сидит прямо на матово мерцающей плашке топора без топорища, умывает мордочку когтистой лапкой. А на стекле мороз лепит тела, кресты, стрелы, кольца, звезды и иные знаменья.

Ярко-алое полотно падает, сползает вниз со стола. Что это? Флаг, с коим на смерть идут? Полотнище? Плащаница скорбная? Тряпица легкомысленная для вышивки девичьей? А может, Елизавета нарукавники шьет для ночных надзирательных отрядов? Перевивается, льется кровавая, богатая ткань, мягко посверкивают тяжелые складки: должно быть, древняя

это ткань, пунцовый рытый бархат... а издали не видать, возможно, это слепящий дамасский атлас, в который заворачивались, возлегая на ложе, пышные развратные красавицы Вавилона в ночь его падения, отмечая резким цветом казни и умерщвления свою великую – в веках – судьбу. Елизавета берет ткань в руки, и та нежно скользит меж ее вздутых, в присохших чагах мозолей, пальцев. Вот из такой ткани – дочери подвенечное платье шить!..

Мороз полыхнул по коже. Венчальное? Цветом гуще крови?! Ох, с ума она сорвалась, не иначе. Закрыла тяжелые полукружья век. Под веками, биясь и мерцая, началась своя, странная и немислимая, жизнь. Сражались воины. Летели стрелы. Пересыхали моря, и гибла рыба, бешено, напролом, идя из горловины устья – на вихревой алый нерест. Заточенные в темницах королевы шили золотом по холстинным грубым гобеленам. Жена зажиточного купца – Елизавета не припомнила, как ее звали, хотя глаза ее она узнала немедленно, – приготавлилась купаться в бассейне, сидя на мраморном краю и весело окуная ноги в изумрудную холодень, а пацан-арапчонок лез с полотенцем, промакивал ей желтые, слоновой кости, плечи, пока жена купца, держа пергамент мокрыми руками, читала письмо, присланное ей – любовное письмо. Боевые слоны переходили вброд шумную, белее молока, реку в горах, и старые, с жидкими бородами, картографы коленапреклоненно рассыпали перед султанами карты с переустройством мира. Черные девушки танцевали перед усатыми, в кружевах, пиратами на липкой от крови палубе корабля, а во льдах, чуть смещалась ось подглазного видения, малорослые люди в меховых сапогах, стоя в лодке в рост, гарпунами убивали молодого кита, и молились, и просили у кита прощенья. Земля медленно поворачивалась, пока Елизаветины глаза были закрыты, а красная ткань дрожала в ее худых узловатых руках. Такое зреть ей было впервые, и она затаила дыхание, выпрямилась, словно бы слушая пение сверчка или далекую музыку. Ксения тихонечко поворочалась в корзине и почмокала. Мать, не размыкая век, вслепую нашарила рукою корзинку, погладила потный лобик. Крутись! Крутись, Земля-матушка! Лицо зареванное Солнцу подставляй, небу многозвездному! В черноте – Дьявол есть ли?! Звездная чернота – живая, добрая. А дом Зла? Христос-Бог учил, что Дьявол – среди нас, что тело наше, кости наши и череп, разума вместилище, – это его дом. И в чистоте надо дом свой держать, не в запустении, чтоб не поселялся в нем ужас кромешный.

Елизавета, сонно, слепо покачиваясь, следила за сменой бесконечных земных картин. Жизнь, жизнь, огромная, как ветер, и народы перемещаются по лику Земли, перетекают из сухопутного кувшина – в морской, перелетают, возвращаются, умирают, сгорают заживо в пожарищах набегов, и огонь воздымает рыжие кулаки к небу. Так вот какая ты, земная жизнь. Ты – тесто, и гигантские руки грубо месят тебя, швыряют об стол древних материков, кидают в солевой раствор гибельных приливов, втыкают в тебя изюмины разгульных торжеств и горькие маслины гениев. Когти гончих собак царапают тебя, в зубы убитых волков ты сама суковатую палку втыкаешь. Ух, какая ты, жизнь! Ты – чудо; ты – заклинание у костра. А костер – вот он: алая ткань, кою в руках мну, держу, ногтями разрываю. Слежу внимательно: где же в череде жизней – она, Ксеньина? Дочь моя живет уж на свете белом. Ее вороны любят, она им хлебец крошит малюсенькими пальчиками; и собаки окрестные ее присмотрели – так и увиваются за ней, носами тычут, лапы на плечи кладут. А она собакам кулачки в пасть слюнявую кладет и смеется, и на голубой снег с ними вместе садится, и за шею обнимает, и целует их в парные, шерстяные пахучие морды, и собаки по снегу бьют хвостами от радости, как палками. Вот какая у меня Ксенья-то, – а, жизнь! Ты погляди на нее только! И как собаки те начнут ее катать носами да лапами по сугробам – визгу аж до крыши! А люди мимо плывут. Таращатся. Вздергивают плечьями: «Вот век пошел. Сумасшедшие дети в сугробах с собаками катаются. Собачья дочь. А мать, верно, – шалава из шалав!» Ну же, ну, вертись, волглый, снежный шар. Авось... и Ксенью увижу. Вот. Вот сейчас. Дрожу. Еще поворот. Еще... ну!..

Сон Елизаветы. Кондак летописца во славу Ксении

...и вот, увидел я на площади, забитой до самых крыш сутулых домов людьми, машинами, смертоносными орудиями, дымами и огнями, среди танковых пушек, груд мусора, баррикад, кричащих офицеров и солдат, среди круговращения народа – а уж огонь полыхал, взвивался до небесной черноты! – женщину в рубище. Она стояла в кольце костров, подъяв худые руки. Одета была в мешок с прорезью для горла – так помстилось мне, – лохмы подола волоклись по грязи, тлели, окунаясь в угли костров. Народ гудел и плакал вокруг нее. Люди насккивали друг на друга грудью, схватывались врукопашную. Ругань, стоны стояли в прогорклом, чадном воздухе. На морозе застывали адские розы дымов, висая в серебряном дегте черной небесной чаши. Крики рвали ледяной воздух: «Царя!.. Царя хотим!.. Хватит ужасов, мук!.. Довольно!.. Сыты уж!.. И кровью напились, и смертями наелись!.. Кто не с нами – пусть погибнет!.. Нет уж давно воскресенья, есть лишь смерть одна!.. Режь... руби... наказуй – возмездие пришло, за всю боль, за все страданье, русским человеком выпитое!.. Думали – захлебнемся?!.. Накось! Выкуси!.. Все – обман... не хотим больше обмана!.. А если правды в мире нет – останется лишь кровь, она-то правдивей всех!.. Царя! Царя дайте нам!.. Он нас спасет – он всегда на Руси был!.. Нам к его ногам – припасть... мы его – возвеличим!.. до неба подыдем!.. Царя!.. Царя!.. От греха, ото лжи, от гибели – Царя хотим!..»

И среди таких криков раздавались иные, утробные:

«Ишь, отребье... чернь, псы... ублюдки... рожна горячего вам, а не Царя... против свободы пошли?! Против изобильных плодов, что на вас вывалили, потопив вас же, шакалов, в роскоши?! Против ИСТОРИИ МИРА?! Зажрались!.. Только гадить в фарфоровые вазы умеете! Лишь кнут, лишь окрик и пытку понимаете!.. Волчья кровь... народ!.. – не народ, а быдло!.. Задушим!.. В крови потопим вас!.. Это мы – народ!.. Мы!.. И мы будем владеть вами!.. Мы спляшем на ваших сожженных костях!..»

Я слышал сие глумление, я ужасался и дрожал. Плотней запахнувшись в непрочное, незимнее одеянье свое, я поближе подошел к жене, стоящей посреди смрада, воплей и горя, посреди моря людского плившей босиком на железном сугробе. Да, босиком, – я когда взгляд перевел на ее лодыжки нежные, на ступни босые, прямо к угольному льду прижавшиеся, – так и захолонуло сердце мое, и я прослезился. Взмахи великих огней вырвали из тьмы ее лицо. Оно было страшно и прекрасно. Торчащие, худые скулы, космы вдоль щек, огромные, широко распахнутые глаза с бездоньем зрачков, оранжево горящие щеки, разрезы темных морщин вокруг рта. И нежность, несказуемую словами, я узрел в том лике женском. Подбрел я еще ближе и молвил: «Милая, да святится имя твое, неизвестное мне! Ушла бы ты отсюда! Того и гляди, убьют тебя здесь, сожгут в кострище – косточек не соберешь. Ты – женщина: для чего тебе быть в сердцевине мужской свары?!» Она глянула на меня строго. Наклонила ко мне гордую голову, лохматая прядь коснулась щеки моей, и вздрогнул я, как от ожога. И так сказала мне: «Муж разумный, погляди повнимательней, кто сражается здесь, кто убивает друг друга». И верно: глянул я – а вокруг и женщины друг дружке в косы вцепляются, лица ногтями царапают, и пацаны клубками катаются, одежду друг на дружке в ключья дерут, лбы и затылки разбивают о мерзлые камни! И старики поседелые, усохшие наподобье хлебной горбушки, железо и камни во врагов своих целят! Добро бы лишь камни – цепь непрерывных выстрелов под смолю небес раздается. Огонь, огонь из дул автоматных, из дедовых ружей, из бандитских обрезов.

И женщина та, зажимая худую рукою обгорелое платье на груди, пыталась усмирить смуту, вразумить противоборствующие стороны.

Поднимая руки высоко, так кричала она, стоя в бешенстве огней: «Братья, братья!.. Одумайтесь!.. Что деете вы, что же вы творите!.. Закон вам не писан, но вслушайтесь в себя, ощу-

тите – в каждом из вас бьется живое сердце! А вы убиваете его, ваше сердце, в ближних своих – ведь в мальчишке с мертвым голубем у пояса – сердце ваше! И в распатланной, седой матери, плюющей в окровавленную священничью рясу, – сердце ваше! И в парне, зажавшем складной нож в кулаке, и в мужике, поливающим огнем из проклятой железяки, – сердце ваше! Так не убивайте себя, люди! Знайте: Бог судил вам погибель иную. Не берите на себя Боговы дела. Перестаньте жечь костры! Не стреляйте – обнимите друг друга! Поцелуйте друг друга!»

И внезапно голос ее среди выстрелов, сполохов и галдежа пресекся, и шепнула она, – а я видел, я-то близко стоял, как по испачканным сажею скулам ее две серебряных слезки скатились:

«... полюбите друг друга...»

Куда там! Услышал ли ее кто!

Господи, чудны дела Твои, а удивительно, неземно как-то было и то, что стояла-то она как бы особняком – а в толпе, пули ее не задевали, огонь не возжигал, толпы бесноватых с ног не сбивали. Будто под прозрачным облаком стояла она, возвышалась над ввергнутыми во ад людьми живою башней Вавилонской. А над ее головой – и тут перекрестился я, как увидел сие – полыхал вселенский пожар, сумасшедший пожар. Горело все: горели над ее простоволосой головой – Красная Пресня, обе Грузинских улицы, вся Большая Никитская и та церковь у звонких Никитских ворот, где венчался давно тому назад смуглый и синеглазый поэт; горели праворучь – Арбат и Смоленская площадь, леворучь – Тверская, Столешников, Петровка, Страстной, Трубная площадь, Цветной бульвар; а совсем высоко, над беззащитным теменем ее, горела Красная площадь и многоглавый храм Василия Блаженного, возведенный кудесником да пьяницей Бармой, и каждая глава его – и кубово-синяя, и золотая, и тюбанно, лихо закрученная разноцветьем, и укрытая серебром рыбьей чешуи, и меднотелая, и кроваво-киноварная, и тинно-зеленая, подводная, и слепящая прилепленными к ней звездами и месяцем, и верхняя, самая дерзкая, петушиная, – кричала огнем, простирала руки огнем, выла и пела огнем! И на раскрытой снежной ладони, к нам, грешным, воюющим, протянутой, стояла эта дивная женщина, и глаза ее, полные любви, ярко, безумно блестели от слез, ибо ведала она, что не ей остановить разрушение, что Богом послан в мир, сошедший с ума, тот, кто голосит и вопит в пустыне – по колено в крови, по шею в пулях и плевках! Мужественно стояла она. Я, дрожа, молча глядел на нее, не убоясь пуль. И она отныне молчала, только широкими, по-волчьи раскосыми глазами созерцала Вселенский Пожар. И, когда гудение злого огня достигло вершины муки, когда невыносимо стало слышать и зреть, она резко обернулась, шагнула ко мне и схватила меня, многогрешного, за плечо:

«Если милует Бог и останешься жив – запиши. Запиши, Христа ради, как погибала любимая земля, как умирали родные люди. Запиши гибель этого мира, и Бог тебе зачтет – в ином. А я буду здесь стоять. До конца».

Пересохли губы мои, кадык задрожал:

«Но ты женщина!.. Ты – нежная... Ты здесь найдешь свою смерть. Уходи! Спасись! Кого ты исцеляешь?! Юродивых?! Бесноватых?!»

Улыбнулась. Улыбки той я, доколе жив, – не забуду.

«Я знаю, что я не умру. Мне такая судьба дана, как два широких крыла. Вот я по жизни – и над смертью! – лечу. А своего охотника узнаю. И пулю, что настигнет, – приму. Не бойся за меня. Слушай». И плечо мое еще крепче сжала.

Визжали пули, рвались снаряды, а она шептала мне на ухо, и медом на морозе тек ее хриплый голос:

«Я знаю – за углом подвал. Вижу: там стол, старинный, на львиных лапах. Потолок обвалился. Головою на столе, обвис, обмяк, – мертвец. Пред ним – десть бумаги, перо. Будь ты летописцем. Его дело продолжи. Люди другие придут. Явится иная жизнь. Страницы твои, в крови и слезах, – найдут страждущие, тебя за полынное знание благословят. Иди! Из подвала

не только ноги человечьи видно – видно землю, очень близко, по-родновски; видно поземку, видно небесную бурю, видно Луну и светила. Звезды медной монетой рассыпаны. А гляди! – никто во всей наглой, воюющей толпе юродивой грошик не подаст».

Я нетвердую рукою нашарил в кармане копейку. Кто мне, когда засунул ее вглубь тулупа – отец, дед? Я сунул, не помня себя, дивной жене копейку в руку, и когда пальцы мои почуяли жар ее ладони, я закричал!

А она снова несказанно так улыбнулась и молвила, глядя на убийства, на глад, мор и руины, на Пожар Вседержавный:

«Иди, летописец. Живи».

И пошел я, послушный, под градом пуль, под щенячьими визгами снегов, меж распротертых на изрытом, решетчатом льду шевелящихся либо неподвижных тел в тот, назначенный мне Святою, подвал, и разыскал ту каморку с убитым, и вытащил у него из-под локтя искровяненную серую бумагу, и под грохоты канонад, под стоны раненых и истошные бабьи крики начал записывать все происходящее с вечной, любимой землею моею, с распинаемой на Кресте родной землею, и так я был направлен и благословлен на сей труд, смирившись с участью своей и гордясь, а не тяготясь, ею.

А Вселенский Пожар все полыхал, все разрастался, и огнем были уже пожраны и Ордынка, и Маросейка, и Якиманка, и Чистые Пруды, и уж все Замоскворечье объято было гудящим яростным огнем, и лились потоки огненных стрел, и занимались, сыпля золотыми искрами, и церковь Всех Святых на Кулишках, и Котельническая набережная, и Лебяжий мост, и Ярославский...

...а лицо, лицо-то Ксеньино так и не успела я разглядеть хорошенько, все смазлось, поплыло. Только вихрь голубой, густо-синий, в облачных прожилках, в индиговых смерчах. И все. Все?! Это она была?! А я не обозналась?! Не... слукавила сама перед собою?!..

Тусклый, пыльный и печальный свет лился от лампы вбок и вдаль, и наискосок – в луче – появлялись и исчезали улыбки и слезы людские. Ксения жалобно простонала во сне про непоправимое, медвежонком перевернулась на живот. Спинка заголилась, проступили ребрышки; под левой лопаткой чернела, шевелилась жужелица родинки. Елизавета склонилась, горячими губами коснулась родинки и так замерла. Воздух заискрился вокруг дочериного затылка, над лопатками. Мать напряглась, ждала.

Она уже з н а л а, к о г о она на свет белый из утробы намоленной породила.

Медленно протянулись Елизаветины руки. Перевернула Ксению опять на спинку. Пальцы, нашарив пуговицы, расстегнули ворот ночной сорочки. От Ксеньиной груди, от того местечка, где билось и колыхалось, поднималось сияние. Свет разливался, неуклонно разгораясь, и от ребер, и от живота, и от ободранных детских коленочек, но явственней всего исходил из подключичного окружья, под правой Елизаветиной ладонью, глядящей, неверяще осязающей его лучи. Все тельце ребенка светилось и мерцало. Елизавета хотела было, в смятении, бросить на Ксению одеяло, затушить, загасить простынным комком этот пугающий свет, эту нежность, но словно бы внутренний повелительный голос четко приказал ей:

«Нельзя. За это – ждет возмездие. Терпеливо смотри и запоминай».

«Я и так уж слишком много увидела», – усмехнулась про себя Елизавета, да не успела додумать: от тела дочери вертикально, скрещиваясь под потолком, встали ослепительные лучи разных цветов: синие, розовые, золотые, чисто-белые, кроваво-красные, – сошлись в один пламенеющий, пульсирующий столб. Ровно в основании живого, фосфоресцирующего столба, пронзающего потолок, крышу, идущего вверх, ввысь, в небо, лежала маленькая спящая девочка. Мать птицей, защищающей птенца от гибели, нависла над нею. Вокруг светящегося столба завихрились прозрачные фигуры, белые тени, похожие на соек в полете, на белок

в прыжке, на холодные метельные завитки. Уши ее заложило, она на мгновение оглохла, а затем внутрь Елизаветы, как в полый сосуд, хлынула тишайшая и сладчайшая музыка. «Так поют звезды», – пронеслась мысль: снежинкой по санному полозу.

И тихо, тихо, медленно, важно, печально, как идет снег, как идет быстротекущее время, вниз по огненному столбу – сверху?.. с разверстых небес?.. из черного зенита?.. – скользила, приближаясь, вырастая, светясь на фоне серых домотканых одежд обнаженными руками и лицом, красавица: в многозубчатой золотой короне, изукрашенной лалами и яхонтами, в тяжелой медной, с янтарями, гривне, в кованных златокузнецами серьгах. В руках у красавицы темнела гладко отполированная шкатулка. Елизавета не знала, что это – индийское эбеновое дерево. Голова у нее кружилась, гудела, в ушах стоял невыносимый звон, заглушающий ангельскую музыку. Еще ниже... еще, – вот она уже зависла над разметавшейся во сне девочкой, вот она спускается ближе, вот она уже стоит босиком на холодном полу продуваемой сквозняками насквозь больничной каморки.

Елизавета сглотнула слезный ком; высохшие враз губы не повиновались ей.

Красавица, улыбаясь, остановилась над корзиной, ласково глянула на спящую Ксению. Подняла руку. Широкое крестное знамение разрезола ночной воздух четырьмя великими, грустными крыльями. По комнатушке гулял широкий ветер – ветер горьких нагорий, жестких синих снегов, ветер с посвистом брошенного для убийства камня, с привкусом океанского черного масла, ветер, идущий в накат, в полный рост, ветер страдальной Земли, соединяющийся с ветрами бездонного неба, где танцуют серафимы, и Бог, держа на блюде голову Иоканаана, гладит его волосы, смотрит в потухшие глаза и шепчет: «Ты бессмертен».

Молча протянула красавица Елизавете черный ларчик, откинула крышку. Дыхание матери зашлось. Прижимая руку к бьющемуся горлу, чтоб не закричать, она заглянула. На белом, слепящем – атласе ли?.. бархате?.. – горел синим светом бирюзовый крест на простом вервии, веревочном шнурке. Глазами красавица указала: «Возьми».

Елизавета, трясась, осторожно вынула крестик из ларца и крепко сжала в кулаке. Так же молча женщина в блестящей короне приказала взором: «Надень на дочь». И Елизавета, продолжая содрогаться всем телом, напялила крест на тощую шейку спящего ребеночка.

Времени не было, чтоб схватить со стола плохо лежащий нож, себя порезать до крови, ощутив: кровь живая, капает, значит, все – явь. Сгорали во тьме стремительные ласточки мгновений. Еще секунду постояла Красивая над Ксеньиной корзиной, еще улыбаясь. Подняла голову. И широко открытые глаза сказали глазам Елизаветы все, о чем она будет помнить всю жизнь, отпущенную ей под диким львиным Солнцем, под мертвым черепом Луны.

Елизавета моргнула. Сомкнуть – разомкнуть веки: щелчок мига, смерть миров. Ночь тихо текла, переливалась, блестела стоячей водой в заливах часов, в затонах сна. Мышь в углу поглядела оторопело, стала мыть лапкой морду. От корзины пахло терпким, высохшим деревом, сладким дитячьим тельцем. Никого не было в больничной каморе.

Лишь алая мятая ткань валялась под ногами.

Лишь бирюзовый крест горел на груди спящей девчонки.

Рынок, рынок, восточный, таежный рынок, продутый волчьими метелями, утыканный иглами драгоценного инея! Танцуют торговки от холода, вот одна вареную картошку рассыпала по лотку, заворачивает покупателя в газету, поливает из деревянной ложки маслом, посыпает жареным лучком да перчиком. Где и сама картохи хватанет: мороз, и живот подвело, и сама стряпала, и деньга невелика, – съем-ка лучше с охотки, даром, что без селедки!.. А вот омулевая баба стоит, с ведром, полным шевелящейся рыбы: узкие, длинные сабли, живые сверкающие мечи Темучина, огнеглазых хуннов это, – не омули!.. – страшно их солить, наваливать гнет: они камень разорвут, ведро пополам рассекут. Идет древний омуль лунным ходом в томительной черноте заклитого озера. Манят его любовные рисунки горних звезд, ищет он жизни,

а находит сеть. Баба, рыбачка! Ты не обижай его, омуля. Три священных зверя есть на земле: рыба, дракон, бык. Бык несет Солнце на рогах. Рыба Луну обвивает хвостом. А дракон все пытается их пожрать. Да отовсюду летят в него каленые стрелы, и кочевники скачут ему наперез, втыкая копыя в напрягшееся горло, в подъятую хребтину. Видишь – эту картину китайчочка на черном кимоно вышила, кустарно, грубовато, и не шелком даже, а так, простыми нитками, да ничего, подходят, шупают, хвалят, – авось и купят. Замерзла маленькая китайчочка, нос порозовел, на ресницах тяжелое серебро повисло, – а смеется! Это рынок; это – Царство-Государство, со своими законами, со своею враждой и похвальбой. Мужик присел на корточки; чистит заскоружлыми ногтями вяленую рыбку чебак, карман фуфайки бутылка темного пива оттягивает. Рядом с ним – раскорякой, холщовую лягушкой – мешок кедровых орехов чуть приоткрыт. Подкрасться... зачерпнуть горсть масляных орешков – украдкой... сыпануть в карман! Убежать... Засвистеть уже издали, за овощными рядами: эй, мужик, а твои орешки-то резво грызутся, в резучий снежок весело плюются!..

Небо пронзительно-синее – не облачный, ветренный лазурит, а прозрачный, кристальный сапфир царя Соломона. Если б не мороз – с жарою запросто глазу спутать! – так пышет с зенита яростною синью. Важно, хитро иди меж деревянными рядами, терпеливо примечай: вот на оснеженных лотках возлежат ярко-малиновые, с помятыми бочками гранаты – фрукт заморский. Кисляк – вырви глаз, ну, да Бог с ним! Раскосая гвоздично-коричневая старая бурятка сгорбилась над граненой банкой золотого меда, пытается ложкой зачерпнуть – заматеревший мед не дается! – только разрезать ножом, зубами кунуть. Вот и нож из чьей-то искореженной, почернелой руки подоспел; аккуратно отрезает старуха мерзлый ломоть меду, кладет на вошеную рваную бумажку, втягивает слюни. А вот они, залитые Солнцем прилавки – знаменитые молочные ряды! Эх, желтое, медовое, густо-коричневое, розово-белое, цвета свежего семгового среза, молоко бравых таежных коровушек! Лежит, милое, крепко на крутом морозе зальделое, на красиво расстеленных стиранных да глаженных холстах – белые круги, сверкающие пирамидки, желто-искристые слитки, топленные железно-застывшие колеса – вот оно, любимое мерзлое молоко, застылые сливки: принесешь домой, в чугунок положишь, в печь живо задвинешь – и дух разольется травный и сладкий, а в кружку ливнешь – полумесяцы солнечного жира пленкой сверху плывут, – выпил – чисто целый обед отпробовал! Старики в мохнатых шапках, бабы, скрюченные на морозе, в мужниных тулупах, греют руки, бьют себя по лопаткам, ухают по-ямщицки, переминаются, как застоявшиеся лошади, с ноги на ногу, матерятся беззлобно. Купите молочка нашего!.. От рыжей коровушки!.. Ох, бравое молочко-то!.. В конце молочных лотков, на ларе, сидит: ссутуленная, в треухе драном, в валенках-катанках дырявых, на руках, как ребенка, держит ведро, загляни-ка – два круга стылого молока, ярко-желтых, как два Солнца. «Что ты, баба?.. Почем отдашь?..» – «Возьми за так... замерзла я, однако. Она одна у меня, корова-то. Она – вся моя семья. Вот такой сказ. Возьми, поеду!.. Инда отморожусь вся... а до Култука – семь верст киселя хлебать!..»

Эх, а вот лимон! Это – дорого. Это – когда в кармане звенит громко, так, что с ближней колокольни слышно. А колокольня – вот она, нависает над рынком белою мачтой в синей бездне, белой коровой идет, звеня святым колоколом, по синему полю. Если звонят к обедне – весь гомонящий, гудящий рынок малиновым звоном заливает. Звон огнем греет в мороз, растапливает слои мерзлоты. Мужики снимают шапки, и метельный порх взвивает реденькие, на зальсинах, волосы. Бабы и старухи крестятся – кто мелко, быстренько, поспешая и радуясь, а кто широко, истово, вкусно, гордясь. Торговка мехами Люба растопыривает веселей корявые охотничьи руки, на которых, как на ветвях, висят шкурки ею самой убитых зверей – лис, волков, росомех, иной раз меткий глаз и соболиную, преступную, шкурку приметит, – Люба только носом шмыгнет, рукою, сжатой в кулак, шкурку сильнее, показнее встряхнет, а не спрячет, не сховат от штрафа. Все гиль, трын-трава! Она, Люба, – стрелялка матерая, прищурка, шаманка, умеет и навскидку, и вслепую, и с прицелом, и хоть куда: ей в тайге – только попа-

дись, сам в росомаху превратишься. Неверующий Богу молиться начнет. Скулы торчат, лицо как надраенная ножом сковородка, глаза утонули в припухлых кожных комках – и что видит щелочками?! – зверя видит, везде: на снегу, в норе, в сплетении ветвей, на вершине горы. Древняя кровь в Любе течет, – знающие люди говорят шепотом, что это – хуннская кровь, что один из ее предков был шаньюй, носил на лбу золотую перевязь и черные ритуальные рога, украшенные тряпками, вымоченными в крови убитых им медведей и козлов. Еще сообщали знающие старые люди, что шаньюй этот убил на охоте свою молодую жену, красавицу, выпустил в нее издалека смертоносные стрелы с золотым опереньем, разящие без промаха – а сам-то он те стрелы и смастерил! – и крикнул своим воинам: что ж вы, стреляйте тоже! Кто-то из воинов заплакал, не смог, уткнул лица в конские гривы. Тех жалостливых трусов шаньюй умертвил сам. Так воспитывал он непобедимое войско. А сыну, что ждал его в юрте, играя с пустынным ежом, он завещал рассказывать о том, как умерла его мать, всем потомкам его рода. И сын его, и внук, и правнук, и все потомки, и вереницы их потомков послушно исполняли просьбу шаньюя, и так эта пролитая кровь докатилась до Любы, а у Любы уж не было детей, одинокая бобылка она была, только на шкурах спала и шкурами укрывалась. А уж мяса варила и жарила – вдоволь. И не своим нерожденным детям, а чужим сплетным людям рассказывала она про безумного, без промаха бьющего прадеда.

И всю жизнь на рынке стоит, зверье убитое продает, – а сама уже темна лицом, как гробовая доска, как черная икона.

Только что и любил ее один Иннокентий, байкальский омулевый рыбак, по прозвищу Коряга. Она оттолкнула его, когда он к ней жить попросился; Коряга пошел, купил две бутылки серебряной водки, пешком пошел на Байкал, отвязал чужую лодку, отплыл далеко от берега, медленно пил обе бутылки, глядел, как льдины печально, царственно плывут по зеленой парчовой воде, как радостно сияют под Солнцем розовые зубцы хребта Хамар-Дабана, а потом торосы поплыли по небу, и выпрыгнули к Корягиной лодке прозрачные рыбки-голомянки, – и он к рыбкам потянулся, хотел их поцеловать пьяными губами, да так и кувыркнулся в хрустальную воду, и топориком пошел на дно. А когда Любе о том сказали, – прикрывая рот ладонью, горько морщившись, шепотом, – она лишь молча осенила себя широким крестом.

А это кто – рядом? Ксюша, глянть, – это ж твоя мать, Елизавета! Дают ей и здесь малый грош заработать, громким зазывом нищий хлеб приторговать: кошма привольно разложена по колко блистающему пирамидками инея прилавку, и на ней – жмурьтесь, ахайте, осовелые люди! – холмы, бугры, пригорки оранжевых, пронзительно-алых, густо-медовых, золотых, как россыпи золотых хуннских монет из степных курганов, ягод, – они сыплются, ниспадают, переливаются на Солнце – дразнятся, вспыхивают, как граненый кушанский топаз! Ксении хочется зарыть в них лицо, руки, щеки, шею.

– Почем облепиха, хозяйка?

– Не дороже денег!

– А ну как и куплю?

– Помолюсь за тебя от души!

– Сыпь!.. Эх, е-да-ты-мое, сладка!.. Чище бурятского меда!..

Ксения замерла у прилавка, исподлобья уставилась на мать. Она твердо знала: облепиха чужая, ей и ягодки не отколется. На наторгованные деньги мать купит ей сахару, чтоб не скушно было пить чай, и синего тощего куренка – долго будет в котле вариться суп, и три дня они будут с матерью есть его. И все же искушение задушило ее.

– Матушка, я ягодку стащу...

– Отлепись, девчонка!.. Побегай вон еще, погуляй по рынку!..

Она дождалась неуловимого момента, когда мать чуть скосила глаза вбок, на ворону, прыгнувшую с застрехи к золотому ягодному блеску, ринулась тигренком, схватила в горсть огненных ягод – и так сломя голову побежала вдоль рыночных рядов, окуная лицо и губы

в холод и сласть. В ягодах были смешные плоские косточки – она их глотала: вместе с воздухом, морозом, инеем, колючками. Встала под воробьиным навесом. Слизала все с ладошки. Торговка горячей картошкой, увидев соплячку, покатила на руке дымящуюся картофелину, зашипнула грубыми толстыми пальцами жареный лук, посыпала, протянула: «Ешь!» Ксения знала, что людей надо благодарить; знала она и то, что в ответна благодарность из уст человека можно услышать обидную, злую ругань. Темно поглядела она на испускающую пар картошку, качнула головою, и уши ее ушанки закачались.

– Нет, тетя, – сказала она. – Спасибо, тетя! Вы сами замерзли! И картохи у вас – мало!

И пошла от лотка гордо, как маленькая княгиня, озирая свои владения, любуясь яркими: небом, снедью, снегом.

Овечье-белый камень площадной, перед рынком, возвышавшейся церкви неистово горел на солнечном ветру. Мелко, дробно, словно сыпались серебряные семечки из кожаной торбы, звонили колокола. Дверь храма была открыта, и оттуда тянуло пчелиным и тягучим запахом – ладаном, воском, праздником. Будто огромная мягкая лапа толкнула в спину Ксению. Она не пошла, а побежала к распахнутым церковным дверям, спотыкаясь, чуть не валясь носом в снег.

Взобралась по ступенькам. Протолкалась через коленопреклоненных старух в притворе. Впервые в жизни была она в большом храме, под куполом, в живом дрожании множества свечей, в излучении горячих, молящихся сердец. Еще ближе, туда, к высокому многоярусному иконостасу, к Царским Вратам, к алтарю. Что там? Кто?.. Люди в ряд стоят, босиком на расстеленных на каменных плитах циновках. Бородатый длинный человек в красной бархатной шапочке, с прозрачными, до дна просвечивающими глазами медленно перелистывает пухлую Книгу, разложенную на ящичке, прикрытом куском парчи. Что-то бормочет быстро, быстро – не понять ни слова. Рядом с ним – резная мраморная ваза, такие, Ксения видала, и в городских парках понатыканы. Бородатый человек в тяжелых серебрящихся одеждах наклоняется, зачерпывает круглым серебряным ковшом с витой ручкой из ведра, у себя под ногами, воды, льет в мраморную вазу, крестится. Подходит к стоящим в ряд людям – тут и мальчики, и исхудалые, с косичками-уклейками, девочки, и парень обритый, будто вчера из тюрьмы, в поношенных физкультурных штанах, и приземистая, широкоплечая баба на руках орущего младенца держит, а он орет и извивается, выпрыгнуть из рук хочет, и баба качает его по-цирковому, бросая с руки на руку, только б угомонился, – и девушки с горящими глазами и тощими шейками, высывающимися из сползших на плечи монашеских платков, – и всем-всем мажет кисточкой из серебряной коробочки по лбу, по вискам, по груди, по ладоням, вот на корточки садится и – хвостиком кисточки раз-раз! – по коленям и ступням, – а поодаль, дальше всех, стоит русобородый мужик, золотые кудри падают ему на плечи, узкие волчьи глаза горят темной кровью занебесных гольцов и священных пещер, мрачно сведены его брови, штаны закатаны до колен, он голый по пояс, и длинный бородатый человек в красной бархатной шапочке выхватывает его из всего большого ряда присмиривших босых людей, стоящих на ковриках, цепляет за руку и ведет к мраморной вазе. Вот руки русобородого по локоть в купели. Вот быстро бормочущий что-то человек в бархатной скуфейке набрасывает на его наклоненную беззащитную шею чистое полотенце. Зачерпывает ковшом воды из ведра. И льет на голову русобородому мужику – раз, другой, третий! Жидкое серебро воды мятно, железно сверкает, оловянным, спиртовым блеском течет с обнаженной головы и шеи – в купель. Вот уже в турбане полотенца отходит от вазы мужик, и человек в скуфейке надевает ему на шею черный шнурок. А это что блестит на шнурке? Ксения суется ближе, ближе, наступает на пятки шепчущим, крестящимся старухам, молодухам с грудниками на руках. Она видит – в густой поросли волос на груди русобородого мужика запуталась маленькая золотая стрекоза.

Не помня себя, Ксения кидается прямо под ноги человеку в красной скуфье:

– И у меня такой! Поглядите! У меня тоже такой есть!

Быстро, словно боясь опоздать куда-то, она распахнула шубенку, разодрала шарф, рванула воротник кофтенки. Крестьящиеся изумленно, оторопело воззрились. Священник внимательно, испытующе склонился к маленькой девочке, зажавшей нечто в кулаке под подбородком. «Покажи! – ласково шепнул он. – Тебя в храме никто не обидит!..» Ксения, глядя прямо в глаза батюшке, медленно разжала кулак.

В грязном, замурзанном детском кулачонке истово, торжествуя, просверкнула бирюза – небесно-опасным, смертно-изначальным светом. Священник, молча рассматривая бирюзовый крест, подумал о том, что так горят на рассвете далекие святые горы Беловодья, исподы вершин Тибета. А может, так горит Байкал, когда вокруг залягут снега и бесовски запляшут метели, а он все хранит живую синюю ласку по-мужски спокойной воды.

– Ты крещеная, раба Божия? – строго, блестя добрыми глазами, спросил он.

– Нет, – помотала головою Ксения и улыбнулась.

– Так давай я тебя окрещу, – просто сказал он и тылом ладони поправил бархатную шапочку. – Опускай ручонки в купель. Наклоняй голову. Эй, восприемники, у кого-нибудь осталось сухое полотенце?..

Ксеньина шубка упала к ногам. Она, как новорожденный бычок, неумело, едва держась в равновесии, наклонилась над резной каменной чашей. И когда на нее сверху, из ночного запредельного мира, из страшного и прекрасного Мира Взрослых, полного звезд, крови, войн и любовей, обрушились потоки воды, она сначала задохнулась, потом стала ловить эту воду ноздрями, губами, не понимая, теплая она или холодная, сладкая или соленая, она чувствовала, что вода была ж и в а я, что она омывала ее для новой жизни, а священник, воздымая в худой руке ковш, говорил – и она слышала это ясно – о Потопе, об Омовении, о Гробе Господнем. Ропот людской кругами ходил по церкви. Слышались всхлипы. Ксения доподлинно знала, кто такой Бог Христос – мама ей все рассказала, как там было дело, на Лысой Горе, и как Магдалина, летя во весь опор, задыхаясь, сбивая ноги в кровь, несла иерусалимцам весть о том, что Бог воскрес из мертвых, и как он раны на руках и на ногах Фоме Неверующему показал: она все это замечательно знала, но вот вышло так, что недосуг матери было сходиться да окрестить ее, все были смутные дела, тертые калачи, пыль под койками, мешки облепили на рынке, цены все лезли вверх недуром, а они все штопали одежду, выдергивая нити из старых тряпок, – а кроме того, Елизавета считала, что довольно с Ксении было и видения Богородицы, и ее щедрого бессмертного дара – Распятия тянь-шанской ли, саянской бирюзы.

Ксения подняла от купели мокрую, курячью головенку, коски протянулись по спине, меж лопаток, веревками. Священник набросил ей на затылок чистую тряпицу, промокнул ей волосы, склонился и поцеловал, еле коснувшись жаркими сухими губами, бирюзовый Богородицын крестик.

– Благодать на тебе, дитя, – произнес он, и прозрачные глаза его наполнились слезами, когда выпрямлялся над ней каланчою. – Мука мученическая и благодать. Ну, иди, раба Божия Ксения, и гляди, как можно дольше не купайся, потому что я тебя помазал миром и елеем, елей – это мудрость, а миро – любовь. Иди! Вот шубейка твоя.

Крещеные кучкой столпились вокруг нее. Кто-то укутал ее в шубку. Кто-то – пощупал жадно бирюзу на шее. Кто-то сунул в руки просфору. Кто-то крикнул: «Ходят бродяжки всякие!.. И во храм их безнаказанно пушают!.. А вдруг у нее – вши!.. А с ее волосы состригли и тоже кинули в купель!.. А тута старушки эту воду пьют, ить она благословенна!.. Гоните ее вон из храма, шельму, развелось этих собачат!..»

Священник резко и сурово обернулся на крик. Серебро его широких одежд раздулось, полетело по ветру, забредшему в церковь чрез отворенную дверь.

– Мороз, мороз, – тихо сказал он и прикрыл глаза. – Мороз души людские сковал. Эту мерзлоту – и Христос не растопит, ежели придет. Но Он придет. И мы Его в блеске света

и славы узнаем. А пока... – он подтолкнул ладонью Ксению к выходу, – пока я только вот эту малютку мученицу узнал. И ведь не мать ее ввела во храм. Судьба ввела.

Он, прищурясь, отирая пальцем пот на лбу, под скуфейкой, следил, как девочка, внезапно и чудесно окрещенная им, шла неровным шагом к церковным воротам. Он сподобился. Он зрел ее. Он сам ее крестил. Он расскажет об этом своим детям, внукам, своим самым отдаленным от него во времени прихожанам. Доколе мир стоит, он ее не забудет. Вот она идет, маленькая, в продранной на локтях шубейке, девчонка-собачонка. А у нее над головою, над родничком, колышется золотое сияние. И он, грешный, один из малых сих, хоть и рукоположенный в сан в веках от самих апостолов, он сияние это видит. А другие не видят. Это страшно. Она живет среди слепых. Она будет жить среди немых, глухих и бесноватых. Неужели он один – на всей изрытой трещинами горя Земле! – ее узнал?!

Ксения подбежала к выходу. Мороз, балуясь, пахнул ей в лицо. Она обернулась на прощанье.

– Покрести лоб-то! – шепнул чей-то хриплый голос грубо.

Она растерянно поглядела на свои руки, на иконы. От горящих свечек пахло медом и маслом. Поодаль, за бьющимися огоньками, молча стоял мужик с русой бородой, глядел на нее. Игла кольнула ее в то место, где в груди было горячее всего, где билось птицей. Его глаза вошли в ее глаза, заплывали внутри нее рыбами. За спиной русобородого человека – она успела заметить это, пятясь, выбегая испуганно из церкви, – лежала, мертво брошенная на скамью для отдыха прихожан, вытертая, жестковолосая волчья доха.

Это был ее отец. Небеса углядели звездный час дочери и ткнули волка носом в происходящее, заставляя запомнить, исплакать грех, прикинуть на глазок страх будущего. Прищур его, волчий и метельный, был похож на прищур священника. Только прищуром, пожалуй, и были сходны они, но и эта капля общей крови горела ярко, вызывающе. В медовой полутьме церкви брат смотрел на брата, не зная, что это он – его брат, и каждый из братьев все равно был счастливее Каина, счастливее Авеля. Кто был старше? Волк или священник? Оба одарены нездешней мудростью; оба возраста не имеют; оба по ночам, как заколдованные, глядят на морозное созвездие охотника Ориона. И брат-волк, как и брат-пастырь, стоял, молясь и улыбаясь; и брат-волк, как и брат-пастырь, горестно следил, как малая девчонка, пугаясь, пересекала церковь поперек, как плыла против течения; всплеснула руками, забредя не туда, увидела свет зимы, ринулась к отверстой двери, на волю – и выпрыгнула из храма, как из лодки-долбленки, в крутящуюся, верткую белую воду зимы, в стынь, алмазы и синь.

А вокруг!.. – люди сыпались седой хвоей, тащили в руках и на загорбках все, что можно было уволочь в свои утлые, теплые домишки – перевязанные шпагатами елки и схваченную инеем картошку, рыжие апельсины и турмалиновые гранаты в авоськах и длинные голые прутья багульника – авось среди зимы расцветет! – и каждому из многоочитой толпы хотелось в единственной жизни – праздника и любви.

И Ксения, вышед из церкви, вздохнула и втянула в себя вкусный, яркий и широкий мир ноздрями, ртом, глазами, напряженьем по-звериному острого слуха – всем восторгом детства, всем предчувствием смерти: вот уйду – и ничего этого не будет со мною, никогда. А рынок будет так же сиять и гоношиться, и так же мужики будут колупать ногтями вяленый чебак, и мед будет течь из деревянных черпаков, и матерки – оснащать окрестный воздух, и срезы лимона – блестеть цитриновыми, хрустальными краями, – а меня никогда не будет с красотой земли и с ее бедою.

И стояла Ксения перед Великим Рынком, и Великий Рынок, танцует и кричит: «А вот возьми!.. А лучше всех!..» – улыбался ей.

И во множестве криков Ксения различила один истошный крик:

– Девочку потеряли! Девочку потеряли!

Ксения надменно повела глазами – ну, уж это не ее потеряли, она-то на рынке своя, она не потеряется! – дернула плечом, повернулась против Солнца и ввинтилась в пестротканую толпу, в кучно сбитые тулупы и дубленки, расшитые пимы и драные валенки, в нафталиновые запахи старушских кацавеек и в девичьи песцовые воротники, прячущие золото кос и птичьи шейки. Рынок любил Ксению, и она любила рынок без оглядки, особенно воскресный – царский корабль, носом разрезающий снежное море, полный яств, игрищ, плясок, лошадок, каруселей, пирогов на лотках, леденцовых петухов во ртах у цыганских детей... – а это что там?!.. Ну-ка дай-ка я погляжу!.. Про такие дела мамка мне еще не рассказывала!..

На крохотном, ярком снежном пятачке возвышался длинный, как воротный столб, дядька. В руке он держал черную железную игрушку, маслено блестящую, поднимал ее к небу, размахивал ею. Резкий голос далеко разносился в густом пахтанье мороза:

– Налетай-подходи, от судьбы пощады не жди!.. Везет лишь раз в жизни, остальное – гиль!.. Всего один выстрел – и, если вы везун, вы получаете состояние, пожизненную ренту, дом в Калифорнии и библиотеку словаря Брокгауза-Ефрона!.. Цена жизни – жизнь, цена смерти... – голос прервался, и в пустоту хлынул дразняще-дикий гомон рынка. – ...смерть!.. В обойме на шесть выстрелов – только один патрон!.. Тот не русский человек, кто не испытал судьбу!..

Молчание. Шорох инея, скрип под унтами, валенками. И – широко по рынку, над церковью, над взмывшей в лазурь грязной стаей ворон:

– Русская рулетка!.. Русская рулетка!..

Ксения, растарашив глаза, ринулась ближе. Черная машинка в руке сухопарого дядьки вертелась над толпой. Рядом с дядькой вращался прозрачный целлофановый барабан с цифровыми насечками. Под цифрами, в каждом отсеке, видимые сквозь замасленный целлофан, лежали плотные пачки банкнот. «Деньги», – определила Ксения знающе. У них с матерью никогда их не было вдоволь. Она видела, как тряслись огрубелые руки матери, когда та вынимала из-за пазухи, из нашивного кармана, заработанные в больнице либо на рынке мятые засаленные бумажки: мало! Всегда их было – мало, чтоб вдоволь поесть, чтоб купить с лотка нарядную книжку, чтоб снять хорошее, теплое жилье – они так и зябли в больничном чуланчике! Мало! Мало было собачьих денег!

Еще шире стали глаза Ксении. Сверкнули. Она вывернулась из круговерти народа прямо под ноги длинному дядьке с железкой.

– Как играют в вашу игру? – сердито спросила.

Топтавшиеся рядом, на снегу, красноносые пацаны примолкли, стали дергать ее за края шубейки. «Дура ты! – шепнул один, судорожно шмыгнув. – Эта штука – револьвер! Ка-ак даст!..» Ксения лягнула его валенком, и он упал в снег. Длинные ноги дядьки, обутые в военные сапоги с заклепками, оказались совсем рядом с ней. Она задрала голову, чтоб поглядеть на дядьку, как на позолоченную звезду на вершине елки. Увидала небритый синий подбородок и раздувшиеся, как у лошади, ноздри.

– Эй, товарищ! – крикнула. – Я замерзла ждать! Дай сюда твою железяку!

Долговязый наклонился к ней. В глазах-рыбах, бившихся пьяно в накинутаю сетке морщин, чешую блеснуло изумление. Он покачался туда-сюда, дохнул на маленькую Ксению перегаром, опасно отвел от нее руку с черной заковьюкой.

– Гуляй, гуляй, – бормотнул. – Гуляй отсюда. Мамка тебя ищет.

– Дай! – крикнула Ксения и протянула руку к железке.

Народ вокруг зароптал: «Ну чо... ну пусть поиграется... ну, у него там, вместо патронов, чай, небось какие-нито пугачки всунути... Разреши ей, дяденька, позволь!.. ну чо тебе стоит... денга-то у тебя настоящая... пусть стрельнет... а куда стрелять-то надо?!.. ничо не объясняет, холера... да пусть пальнет, жалко, што ль!..» Длинный вздохнул. Мороз ел ему щеки, щипал за усы. Эта приставучая девчонка не отлипнет. Но ведь ему за нее Господь Бог задаст по пер-

вое число, если... если. Искра сумасшедшинки прошла его зрачки, он присел на корточки и вложил кольт в ладони девчонки.

– Давай крутану барабан, – прошептал хрипло. – А потом ты поднесешь эту штуку к виску... вот сюда, приставишь железную трубочку. И нажмешь вот здесь. Вот. Это собачка.

– Где собачка? – сурово спросила Ксения, нахмураясь. – Эта железная сопля – собачка? Дядя! Что ты болтаешь! Собака живая и лает. Вот сюда приставлять? И все?.. И... нажать?

Дядька чуть не заплакал, глядя в задумчивое лицо Ксении, закинутое вверх, к небу, вызолоченное морозом. «Исусе-Мария, Исусе-Мария, она же девчонка», – прошуршал шершавыми губами, цапнул пятерню синюю щетину. Ксения недвижно стояла с тяжелым кольцом в руке, потом со вздохом подняла его, приставила к виску, как ей объяснил небритый фокусник, зажмурилась от напряжения и выстрелила. Созерцающие зеваки затаили дыхание. Синь неба взорвалась торосами света.

– Холостой, холостой, – зашептал дядька вне себя, холодный пот выступил у него на лбу и спине, – холостой, холостой. Ох, какой же я дурак!

Ксения изумленно поднесла револьвер к лицу, к самому носу, пытаясь рассмотреть, пытаясь понять и запомнить. Видимо, это была не игра. Но она сама не заметила, как перешагнула порог игры и оказалась в ледяном, страшном море боли и смерти. Но восторг и захлеб детства делали свое белое дело. Она стояла на снегу живая, и, значит, все-таки это была игра. А деньги? Они настоящие? Она выиграла деньги. Деньги для мамы! Если только это не обман, то...

Небритый мужик наклонился к ней и вырвал револьвер у ней из руки. В глазах его плыли светящиеся, как рыбы, слезы.

– Девчонка, – шепнул он: голос по-прежнему не повиновался ему. – Ну, в рубашке ты родилась, непонятная ты девчонка. Где мамка твоя?.. я тебе без мамки выигрыш не дам, а выиграла ты, девчонка, будь здоров... можешь дворец себе построить. Вот... катанки новые справишь, твои-то латаные, драные. Ну, дела!.. Брысь за мамкой живо!.. Я здесь буду стоять, подожду. Гляди под машину не попади, их по рынку куча шастает! Ну, ты лихая!.. Оторвочка!.. Беги, зови мамку, ты ей на серебряном блюдечке – во какое счастье сейчас принесешь, она и присядет прямо в снег от радости!.. Я б тоже – от ужаса! – сел в сугроб, отдохнул... Шпарь! Жду! Сто тысяч твои! Скажи мамке: сто тысяч!..

И небритый турнул Ксению из плотного круга зевак вон, ближе к рядам с медом и ягодами-фруктами. Ксения чуть не споткнулась, зашарила руками по воздуху, выпрямилась, бычком побежала вперед. Там, в ягодных рядах, не было ни горки с облепихой, ни Елизаветы. И перекрестный гул голосов разъединялся, висел, накладывался друг на друга тяжелыми, чугунными рельсами.

– Мама! Мама! – завопила Ксения.

Ей не было ответа; цветное разношерстье людей крутилось, вертелось, слепливалось и разрывалось на грубые, пьяные лоскуты, шивалось опять веселой иглой солнечного луча, матерною песней, переброшенным через головы высохше-серебряным чебаком. А к длинноногому дядьке с прозрачным барабаном подошла высокая красивая женщина в серой каракулевой шубке – такая красивая, что Ксении захотелось схватить ее за руку и на весь мир закричать: «Не бывает такого! Не бывает!..» Под нежной мерлушковой шапочкой бились прибоем ярко-синие, цвета неба над рынком, огромные глаза, разрезом напоминающие длинный южный орех (на лотках такие продавали, Ксения названия не запомнила), кожа щек и шеи горела золотом и смуглотой, а размах заиндевелых бровей был широк – шире крыльев морской птицы чайки, когда на нее смотришь, прищурясь, в бинокль. Чудно изогнутые губы красивой женщины дрогнули в пунцовой усмешке, когда она остановилась совсем близко от барабана. Она что-то сказала длинному дядьке, и тот, указав пальцем на Ксению, широко разевая рот, смеясь, дурачась, – что-то ей ответил в свой черед и протянул черно сверкнувший на солнце

кольт. «Не надо!» – хотела крикнуть Ксения. Страх обхватил ее цепкими лапами. Запоздалый, липкий страх.

Толпа пучилась, вздувалась и рассасывалась, пятна юбок и шалей налезали одно на другое, вспыхивали, гасли. Праздник снега продолжался, из репродукторов гремела танцевальная тараканья музыка, бабы, продающие слитки застылого молока, лузгали тыквенные семечки, плюя зеленую шкурку в лазуритово-хрусткие сугробы. Прогремел выстрел. Ксения, когда в себя стреляла, свой – не услышала. Этот – услышала. Этот – заложил уши, и все почернело внутри и налилось: давящим, дегтярным, смрадным. «А-а-а-а! – закричали, заквакали, заблажили голоса. – А-а-а-а-а!.. Скорую!.. Скорую!.. Скорую!.. Поздно!.. Поздно!.. А-а-а!»

Расталкивая людей, Ксения ринулась туда, в ужас. Она будто ослепла. Ее, бегущую, швыряли из рук – в равнодушные руки, перебрасывали, будто мяч. Внезапно слепота прошла, и она увидела. Красивая женщина лежала на снегу – неудобно, смешно и жутко: с вывернутым кнаружи локтем, с задранной в небо головой, так, что на шее резко обозначились ребристые щитки гортани. Русые волнистые волосы выбились из-под мерлушковой шапочки и теперь разбросались по грязному, утопанному снегу, их мертво пошевеливал ветер. И ярко-синие, цвета крестика Богородицы на Ксеньиной грудке, глаза застыло глядели в зенит, прямо в Солнце, и зрачки уже не сужались и не слепли. У виска валялся ненужный кольт, и кровь на снегу дымилась, прорезая в ноздреватом насте темно-багровые ямины и проталины. Ксения подбежала к ней, лежащей; присела на корточки, обняла ее за каракулевые плечи, затрясла. Крик вырвался из нее против ее воли.

– Вставай! – Губы ее вспухли от слез, лицо загорелось болью, гневом. – Вставай! Это же только игра!.. Только игра!..

Длинный дядька упал на колени рядом с Ксенией, глухо и смачно выругался.

– Да, это игра такая, – сцепил кулак. – Игра, мать вашу. И у меня... есть лицензия. И сертификат. И разрешение от... властей. Прочь все! – заорал. – Разойдитесь прочь! Вы мне не судьи!.. И я вам не судья!.. Унесите ее кто-нибудь!.. Эта женщина... проиграла!.. Всего лишь!.. И вы... что вы пялитесь так?!.. вы не имеете права!.. Вызовите бригаду, носилки... что вы все тарачитесь, словно водки налопались под завязки?!.. Что... смерти никогда не видали, что ли?!..

Стоя на коленях, он орал свои слова, подняв кверху, к людям, опухшее, небритое лицо, как затравленный зверь, и Ксения, сидящая на корточках рядом с убитой, видела, как дрожит его челюсть, как дергается кадык. Ей было жалко его. Жалко мертвую прелестную женщину, миг назад еще улыбающуюся, румяную, закрывавшую замерзшую щеку воротником кудрявой бараньей шубки. И с изумлением и горечью глядела она, как долговязый встает, хватает барабан, разрывает прозрачную пленку и высыпает, сыплет, сыплет ей на колени, на плечи, в снег мятые жирные бумажки с какими-то знаками, цифрами, крючками, рисуночками, и плачет, и ругается беспощадно, и все кричат вокруг, а он только сыплет на нее эти листочки и повторяет, как заведенный: «Ведь вот девчонка выиграла!.. Выиграла!.. Вы не сможете!.. Вы не имеете права!.. Вот ведь ей подфартило!.. Ей!.. Ей!.. А не той!.. Глядите!.. Глядите, вы, лошади, волы, обезьяны!.. Значит, Бог есть!.. Есть!.. И я не виноват!.. Я – чист!.. Это все игра такая!.. Игра!.. Наша древняя, русская игра!.. Игра во смерть!..»

Старушонка в меховой безрукавке, кряхтя, наклоняясь, помогала Ксении собирать со снега деньги. Кто-то из толпы сунул маленький мешок – из-под кедровых орехов, должно быть, сильно от мешковины шишками пахло, – туда пихали смешные, жалкие бумажки. Когда потолкали все, без остатка, в мешок и завязали – ни один рыночный шкет не стрельнул исподтишка, за сугробом, ни одну отдутую ветром купюру, – Ксения обвела всех горящими глазами, и ее глаза снова уперлись в распахнутые Солнцу глаза мертвой.

– Это ее деньги, – прохрипела сквозь слезы Ксения, – я ни за что не возьму. Отдайте ее детям! Если они есть!

Толпа ворчала, роптала, качалась пихтами, темными елями. Долговязый фокусник, словно защищаясь, закрывал лицо руками. Ксения взяла мешок обеими руками и, закусив губу, протянула людям, смотря прямо на них, в их многие лица.

– Ваше! – крикнула.

Так крикнула, что с церкви сорвалась стая ворон – и взмыла в небесный прогал, от воли и света дуря!

И была тишина. И в той тишине, издалека, от чужих рядов, через сдвигающиеся круглыми чугунами головы в ушанках и треухах, копьём кинулся вопль, яростный клич матери:

– Девочку потеряли!.. Девочку потеряли!..

– Эх, да здесь она! – заголосили на весь свет с виду тихие старухи, зашаркали по наледи валенками, зашевелились, – тут она! Сюда, матушка, сюда гребите!.. Вона девка-то твоя – ишь, мешочница!.. Теперя разбогатемши будете!.. Эту – на кладбище, а вас... на лошадях – да с колокольцами!.. А чья-то девчонка-то?.. А больничной Лизаветки, полудурки!.. Единственная!..

Ксения стояла, шатаясь от ветра, с мешком в руках. Мать подбежала, заплетаясь ногами, повалилась ей в ноги, обхватила руками, облипла всем телом вокруг нее.

– ... единственная моя...

Толпа молчала. Из вышины, с церкви, лился медовый, слаще бурятского меда, звон. Длинноногий дядька, весь изморщившись, плакал, крепко сжимая в кулаке обрывки прозрачной пленки от растерзанного барабана. Волосы мертвой со снега вверх, в чистое небо, золотыми струями поземки взвивал култук – сильный ветер с Байкала. И цыганские дети, подпрыгивая, звонко кричали:

– А вот сладкие красные петушки!.. Петушки!.. Соси да лижи да никому не скажи!..

Через несколько дней Елизавета с Ксенией, купив себе все новое и две больших дорожных сумки, уехали на дремуче-дымящем поезде из города посреди тайги в город на берегу северного, лижущего белым диким прибором камни-кости, вечно штормящего моря.

Зачем они это сделали, они и сами сказать не смогли бы. Сделали – и все. Звезды так сложились в черных, широких небесах.

А мешок, награда русской рулетки, сильно потощал – на эти деньги похоронили убитую неизвестную красавицу, отгрохали величавые поминки, полгорода приглашали, ели, пили и плакали, раздавали те кровавые деньги с паперти нищим и калекам и хромым и глухим бабушкам, чьих мужей на всех войнах убили, и разным прочим другим бедствующим людям, – а на остатки, так и быть, Елизавета напрягла ум, побежала на вокзал и купила два билета им с Ксенией – два входа, два пропуска в иную, дивную и чудную, опасную... – перекреститься перед дорогой!.. – жизнь.

Поезд устремлялся неуклонно, грохотал неостановимо. Утомительно звенела ложечка в стакане. Дергались на стыках вагоны, цеплялись за обтерханные полки люди, чтоб не свалиться. Красный, синий и ярко-белый свет горел на стрелках, рельсы ложились старушьями спицами в ночи на бугристое грязное вязанье земли.

– ...мама, ведь я вижу, на тебе – мешок, длинный такой, до полу, и ты так тоненько поешь на незнакомом языке, и на затылке у тебя косичка, а в косичку вплетены такие черные... каменные... шарики. И в руке у тебя две тонких палочки, их концы горят, они тлеют и испускают... дым. Пахучий очень, очень!.. Ты... печальная. Ты медленно идешь мимо таких... больших бумажных барабанов, они вращаются, на них надписи... черные узоры, сверху вниз, замысловатые... сказочные такие... и ты идешь, плачешь и трогаешь их рукой, и поворачиваешь. И рядом с тобой – лица с узкими глазами, много их, я их боюсь и не знаю. И вижу знаешь еще что?.. в мареве, в дымке – зеленое, будто из нефрита, здание, чудное такое, с колоннами

и черепахами каменными, и в дверях этого дома – чудовище стоит!.. Рожа у него огромная, жуткая... зубы вываливаются изо рта...

– ...фу, как страшно...

– ...щеки синие, глаза красные, а на шее – ожерелье из человеческих... черепов!.. И ты не боишься его, смело подходишь и...

– ...что «и»?..

Елизавета, с туго повязанной платком головою, лежала на вагонной полке, держала руку на голом колене Ксении, нежно улыбалась ей. Что бает девчонка, Бог весть. И куда они едут?.. И зачем?.. Важно – что живы, хорошо – что едут, и еда в узлах есть еще. А дочка... с виду чепуху плетет, ребячьи сказки, да только одна Елизавета в целом мире знает, что то, о чем Ксения рассказывает, – все и правда было. Ее дочь никогда в жизни не видела дацана, буддийских монахов, цилиндров со старомонгольскими надписями. Это Иволга. Это Дацан. То было еще задолго до Ксенийного рождения, до волчьего царя. Елизавета заброшена была ветром в Дацан, и ее, православную, так поразила медная, зеленая от времени статуя Будды с синим камнем – Третьим Глазом – во лбу, – а солнечный день был, лучи ударили в глубину камня, и он резко, требовательно сверкнул Елизавете прямо в сердце! – что она заплакала и тут же захотела посвятить себя восточной вере, – глупая, нищая русская девчонка, серенький милый мышонок с душой, как огонь на ветру. Монахи в желтых куртках обрили ее, посвятили, она ходила со всеми на молитвы, как на водопой, вертела послушной рукой бумажные цилиндры с мантрами. Но не смогла она пробить лдяно-медный панцирь трехглазого божества горячей юной любовью, слезами, бедностью, пылкой жаждой греха и искупления. Она слишком была христианкой для того, чтобы принять переселение душ. Она хотела жертвы и спасения, а не добродетели и холода. Снег и холод были на вершинах Хан-Тенгри и Канченджанги, снег и холод. А любовь и звезда старого Будды, который был учителем преломившего Хлеб и разлившего по кратерам Вино, в то время, как тот, юношей, топтал пыльные горные тропы Азии, так и осталась закрытой для Елизаветы, невнятной. Монахи плохо ее кормили, заставляли чистить укромные углы Дацана. Однажды она нарезала голых прутьев багульника на склонах дабана близ Иволги и дала деру из монастыря. Отбежав изрядно – был виден лишь силуэт покитайски загнутой крыши, – перекрестилась по-православному, легко вздохнула. Елизавете было тогда пятнадцать лет. Ночами она забиралась на крышу Дацана, чтобы считать звезды, жевала корку ржаного, присыпанного крупной монгольской солью. Но откуда все это знает Ксения? А, да наплевать. Сильно хочется спать. И девчонка-печенка, ее тощая зайчонка, что-то болтает, врет через дугу, брешет что-то. А глядишь – и это правда. Нет разгадки. И не надо. Стук колес убаюкивает, и сон берет неодолимо. Обнимает сладкий сон. А под ложечкой сосет, но лень лезть под полку, доставать корзину с железнодорожной курицей, неохота – ночь, глубокая ночь...

– ...и ты подбегаешь к чудовищу, хватаешь его прямо за морду голыми руками и отрываешь ее! Ну, сдираешь всю!.. Понимаешь, это, оказывается, маска... а там, под ней, – бритый монах, лысый, добрый такой, задыхается, кашляет... Это у них такой маскарад...

– ...ага, маскарад...

Ночь, поезд мчится, раздвигается вышитой шалью древнее пространство, на каждом дереве близ дороги, освещенном мертвенным светом Луны – тюркютского черепа, – сидит белесая птица, пережидает тьму. Рельсы рассыпаются по широкой земле стальными веерами, и на изломе одной из многих блестящих пластин – Елизавета и Ксения – двумя черными, скорбными серебрянками, бедняцким украшением, двумя дорожными ножами, перочинными, да консервную банку опять же можно открыть. Века сшибались на этой земле лоб в лоб, сходились врукопашную. Двух уклеек, двух сорожек, переплывающих наискось Реку Времени, может, меднолобое зеленое от старости чудище – пощадит?..

– ...спи, дочуронька...

– Ох, мамка...

Под мышку матери лезет Ксения, устраивается удобно, через два мига – не успел паровоз и десяти деревьев с сидящими на верхушках птицами сосчитать – уже сопит. И грудастая проводница в разгар ночи и плацкартного храпа идет, угрюмая, с повылезшим венником, мести вагонные драные коврики – утром крупная станция, не дай Бог, проверка. К морю приедем – уж там она баночку красной икры с рук, шепотом, по дешевке, купит, все перед родичами похвалится. Говорят, икра на том сером северном море величиной с ягоду облепихи, в тарелку наложишь, ложка воткнется – будет торчком стоять. Легенда, а не быль!

Так мчался, мчался, мчался чудесный поезд, продутый сажей насквозь, мчался на Восток, по горькой дороге великой, шел, тараня поросший шкурами тайги предвечный мир, к восходу Солнца, к разгульному морю, клеймя обжигающими гудками стык зимы и весны. И когда они с вагонных ступенек, исхудалые за долгий путь, спрыгнули и куда глаза глядят, пошли, Ксения почуяла – издали, всей кожей... – соленое дыхание моря, сильно потянула мать за руку: «Пойдем».

И, когда они вывернулись из-за мрачного поворота, где по выгнутой коромыслом грязнущей улице – лишь сараи да лабазы, перестроенные под рабочие столовки, – оно, серое, тяжелое море, ударило в глаза и лицо Ксении всем жидким чугуном дико вспыхивающей изнутри, колеблющейся подобно маслу в исполинском горшке воды, всем соленым воющим ветром, навзничь падающим со снеговых нагорий и дальних, скованных вольфрамом нетающего льда, проливов; Ксения протянула к морю руки, как к человеку, чтобы обнять, набрала в грудь воздуха, хотела крикнуть – и смолчала, и еще долго стояли они с матерью на припорошенном весенней снежной крупкой, изогнутом в виде серпа каменистом берегу, а угрюмый прибой бил перед ними белое белье, изгалялся, откатывался вдаль, как соленое потное тело – по простыне – от ненавистного любовника, обнажая скалы, водоросли, раковины, рыбы скелеты. Бычье, сердитое, сильное море. Вот где предстоит жить. Вот что предстоит любить. Елизавета поежилась: вот холод, и не скажешь, что весна! Ксения застыла как вкопанная. Лицо ее светилось от соленых брызг.

Она видела море впервые в жизни и точно знала: это – громадное живое существо, с разумом, с сердцем, с любовью и ненавистью.

И внезапно: сначала яркая вспышка! потом помрачение... – она увидела всех людей, кто когда-либо погиб в пучине моря, всех, по ком плакали жены в ожидании, дети, глодая сухую рыбу на берегу, вперяясь в даль, молясь. Люди, ослепительно сияя живыми лицами, – не сгнившими на дне в иле, не распяленными в предсмертном тонушем крике, – шли к ней, обступали ее, шествовали мимо нее. Она задрожала. Ладонь взметнулась. Ощутила кожу щек, скул, мягкость волос, пух ресниц, кожаные робы, холстины, брезенты, бархаты и шелка. Люди! Живые!.. Она не могла дышать, ловила ртом воздух, как рыба. Елизавета с изумлением пялилась на нее. «Ксенька, что ты!..» – еле сподобилась выкрикнуть, и вместо вскрика вышел сдавленный шепот. «Плохо девке... изголодалась в вагоне... зачем-то, дуру меня, сюда сразу потащила...» – выплевывали губы, выбивали зубы. Ксения развернулась и с размаху, в ужасе, уткнулась в материн живот. Елизавета прижала ее к себе, схватила на руки, целовала, тискала: «Ну что с тобой, что с тобой, что?..»

– Они живые... они все живые, мамка, – трясаясь, проговорила Ксения, – все живые, да. Никто не умер. Вот что. Никто. Только я не знаю, где они сейчас. И почему... я их всех здесь увидела. Мама! Куда они идут!.. Мамка! Защити меня... Я не выдержу их глаз, мамка!.. А за руки они меня берут, за пальцы, – вот, вот, видишь, хватают, да больно как!.. А!..

Елизавета, подхватив дочь на руки, сломя голову бежала прочь от моря, от вставших горами волн, по вымощенной плоскими известняковыми камнями улице вглубь поселка, вышептывая все охранительные молитвы, какие знала.

Они остались жить в этом рабочем поселке, чахлом пригороде большого приморского города. Елизавета приткнулась – то ли сезонницей, то ли разнорабочей – в ближний рыбсовхоз. Ксения нырнула в одиночество. Море, которое так напугало ее в первую встречу, стало ее другом, ее мальчишкой и пастухом. Оно волновало ее, щекотало ей пятки, подмышки, когда она купалась. Она без страха лезла в холодную воду: все волоски на теле вставали, и она тихо смеялась, когда море целовало ее живот. Часто она приходила с корзиной на берег и, увязая по щиколотку в напитанном соленой влагой песке, бродила, опасно близко подходя к шепчущей о любви полосе прибоя – собирала ракушки, сердолики, ежей, дохлых крабов и морских звезд. Она запекала мидии в золе костра и ела их.

Однажды зимой Ксения возвращалась домой с моря. Берег саваном укрыл снег, но вода еще не замерзла. Вечерело быстро. Матери не было дома. Как всегда, в жалостливой каморке жили они. Мать на работе таскала рыбу в мешках, на загорбке, надрывая поясницу, из чана в чан. Ксения шла медленно, пропечатывая горячими валенками узкие следы в свежеснегавшем снегу. Ночь обнимала их срубовой, чернобревенный барак. Взошла Луна и оглядела мутным бельмастым глазом свои владения. Заиндевелая, гладкая завалинка блестела в лунном свете. Горб сарая тенью ложился на капающие медовым светом окна. Ксения остановилась: на завалинке сидели два человека.

Один держал в руках – голых, без варежек!.. – длинную кривую деревянную рамку, на которой были натянуты, сверху вниз, посверкивавшие под Луной струны. Другой был страшный старик, укутанный по горло в темно-вишневый бархат. Он был страшно и прекрасно одет. На бледно-розовый тюрбан, навьюченный на бородатую голову, плавно садился снег. На верхушке тюрбана торчала корона. На шее старика висела связка мутно-перламутровых камушков, похожих на рисовые зерна. Он крепко прижимал кулак к одному глазу, а из другого текли слезы и затекали в открытый рот с гнилыми, редкими зубами. Тот, у кого в руках была рамка со струнами, слегка пощипывал струны пальцами и тихо пел песню. Из рта у него шел пар. Это был парнишка, пацаненок; снег таял на его курчавых длинных волосах, залетал в поющий рот. Музыка лилась такая, что Ксения ахнула, втянув в себя морозец, и с размаху села в сугроб.

Мальчонка уставал, замолкал. Старик в тюрбане махал ему рукой, кивал: продолжай! Мальчик набирал в грудь воздуху, старался, мелодия лилась – струей молока в белую кадушку зимы. А старик все плакал, утирая нос и глаза скомканной в кулаке пунцовой тканью. До Ксении долетел его шепот:

– Пой, пастушонок!.. Иначе – мне смерть...

Ксения выкарабкалась из сугроба и, смешно взмахнув руками, подбежала к завалинке. Она всего лишь хотела потрогать розовый тюрбан и рамку со струнами.

Она протянула пальцы к арфе, и ее руки прошли сквозь блестящие воловьи жилы, сквозь пустоту.

Ей показалось, что она споткнулась. Она упала животом на завалинку, больно стукнулась лбом о дерево. Очнувшись она в своей кровати. Мать растирала водкой ее замерзшие руки и ноги, причитала: «Ой, горюшко мое!.. Ой, слезыньки мои!..»

Все тело кололо иглами. Ксения приподнялась на локтях и сказала радостно:

– Мама, это музыканты!.. Рядом с нами музыканты живут. Я их на завалинке видела! Давай их к себе пригласим на пирог!

«Пирог», – сморщилась мать и заплакала. От ее рук, волос и кофточки сильно пахло рыбой. В барак доносился гул свободного моря. Простуженная Ксения прометалась в жару три дня и три ночи. А на четвертый день к ним в камору пришел сосед по бараку, гнилозубый старик Федя, бывший Царский кучер. Он принес хрипло кашляющей Ксении банку варенья из жимолости и толстую книжку в тисненном переплете с обгорелыми краями. «Я Царя возил, когда мне было шестнадцать лет, – сказал Федя грустно. – Меня за это – ой как наказали!..»

Ешь вареньице, дочка, ешь. Эту ягоду и медведи любят. А книжка – тебе, чтоб не скучала без мамки-то. В школу-то не бегаешь?.. Нет?.. Ну и верно оно, што зря глаза проглядывать. Эта книжка, она много лучше всех школ. А если какую букву не разберешь, я тебе – подскажу...»

Ксения, ослабив повязку на горле, с наслаждением залезала ложкой в банку, подцепляла темно-синие, горько-сладкие длинные ягоды, листала страницы в потеках и узорах застывшего воска. Гладила масляные пятна, вытаскивала змейку закладки. Эта книжка была Библия на церковнославянском языке. Федя смолчал, откуда она ему досталась, но Ксения все и без слов поняла: от убитого Царя. Царь со всею Семей был намалеван на стене в поселковой деревянной церкви. Может быть, это он сидел на завалинке в тюрбане и плакал от Райской музыки?

Ксения долго, щурясь, при свете ночника разбирала славянскую вязь, сон победил ее, она уснула, читая, и книга выпала у нее из рук.

А потом выпало и детство.

*«Открой мне, малой и грешной,
Господь мой и Бог мой,
двери покаяния моего: вспоминаю утро дней моих
и плачу светлыми слезами о них, невозвратных,
ибо загрязнила на долгом пути чистоту свою,
так очисти меня благоутробною милостью Твоею».*

*Покаянная молитва св. Ксении Юродивой
на Великом Повечерии*

Глава вторая. Снег жжет босые пятки

*«Господь мой, Возлюбленный мой,
благодарю Тебя всем сердцем
за счастливое супружество мое;
Ты благословил меня и мужа моего на союз,
Ты дал непорочно нам на ложе пребывать;
и за то, что Ты мужа моего
на небо к Себе взял —
низко кланяюсь Тебе и целую легкие ноги Твои».*

Ирмос св. Ксении Юродивой Христа ради

*(РИСУНОК КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: ВИНОГРАД – СИМВОЛ
ЦЕРКОВНОГО БРАКА)*

Она достоверно не помнит, когда сместились времена. Сместились – и все. Ее не спросили. Каждое время имеет своих ангелов-хранителей, которые реют над этим временем, пасут его и благословляют, и своих маленьких, противных демончиков, втыкающих во Время гвозди и пики. Ангельчики и демончики рассорились, передрались, и вышла штука совсем уж непонятная. Вот строили, строили древние народы до неба башню Вавилонскую, а она возьми да рухни и рассыпья. А языки? Все стало варево, тесто, снежный ком. Разве человеку под силу запомнить, заучить бездну языков? А времена? Это ж те же языки: то так говорят времена, то эдак, то молчат страшно. Было одно Время, а теперь их много. Весь секрет – в душе. Душу ученые даже расчленили на крохотулечные частички, обзывают эти частички по-всякому – и что? Все зря. Если и есть на Земле что неделимое, неразъемное, так это душа. О ней все люди во всех временах переспорились. До драки перегрызлись.

Не пора ли простить, поцеловать друг друга?!

Не пора. Не пора.

Стихира Ксении о первом пророчестве ей

Кран капает на кухне. Я перевязываю бинтом порезанную руку. Кровь рубиновой полосой просачивается сквозь бинт. Сколько мне лет? Я не знаю. Не могу сказать точно. Лета мои никто не записывал в пухлые казенные книги, не ставил штампы и печати на пропуска. Мои лета не умерли, потому что я знаю, как лечить Время. Потому что я Его люблю и поклоняюсь Ему; потому что Оно меня полюбило, а я овладела Им. Эх, смелая я! Не растерялась. Другие люди теряются. Другие люди – от и до Время размечают, под Его дудку танцуют, булавками Его, как бабочку, прищипливают к своей хиленькой, смертенькой жизнешке. Я же сказала Ему: «Делай со мной что хочешь. Мни, жги меня, крути, истязай. Ставь к стенке. Я все равно Твоя, а ты – Мое. Мое Время. Моя бездонная бочка. Мой соглядатай. Моя колыбель. Мой любимый владыка: с жарким военным телом, с длинными ногами, знающий меня вдоль и поперек. Разве я могу Тебя отвергнуть?» И робко, нежно улыбаясь, наивно так, прикинулась дурочкой незнающей, слабенькой девчоночкой, и подступила к Нему. Ближе. Ближе. Еще ближе.

И Оно испугалось, обнял меня и вошло в меня.

И в любой Его дом, который Оно снимает в суете веков, я смело захожу и поселяюсь там, раскладываю свои манатки, ем свой хлеб. Это так здорово – свободно есть свой хлеб везде и всегда, где хочешь! Быть владычицей Времени, быть Его женой. Да еще женою капризной, вывертливой: что где не по нраву – быстро шасть вон, только меня и видели!

Есть беда... одна беда. Все сбивается в перекасти-поле, катится волглым, грязным снежным комом – на четыре стороны света: иной раз не на Север, не на Запад, а в тартарары, навонтараты. Мои волосы сбиваются в клубок, ветер больно сечет руки, ноги. Чрево выжигает огонь. Где я сейчас?... Смогу ли я еще родить жизнь? Смогу ли я родить себя – в смерть? Может, я уже умерла? Почему я ничего не чувствую? Почему меня можно колоть иголками, булавками, ножами и копьями – и я ничего не почувствую? Значит ли это, что я мужественна и воинственна? Может, меня уже нет на свете, а есть только воспоминание обо мне? Я никогда не рассказывала другим о себе, не исповедовалась в церкви. Мне – исповедовались, мне – рассказывали. Я умею кормить с ложечки, умею перевязывать раны.

Господи, как болит рука! А я думала – пройдет, отпустит.

Серый, сизо-голубиный день осыпал пылью мокрого снега в стянутые сахарным ледком лужи. За ночь подморозило, все занесло порошей, земля походила на умытого младенца в колыбели. По желто-голубому, отчаянно-радостному флагу неба ходили вражеские тени брюхатых снегами туч. Продавцы бессмертников, сушеных букетов, нахохлясь и грея дыханием красные руки, сидели между торговок пирожками, и гул от уродливых железных коробок, напичканных пахучими газами, стоял в воздухе зимы, наводнял ее отравой, паучьи вползая в человечьи легкие. Круговерть колес и огней пугала. Надо было стать петухом или совой, чтоб успевать поворачивать голову за мельканием, сутолокой, веером гудков и наотмашь бьющих лучей. Крутился каменный жернов, выпуская людей из подземного мира, где в ноздри бил запах резины и составы мчались, мыча, как обезумевшие на бойне коровы. А лица людей все были живыми, все улыбались. Под землю, в сверканье радужного кафеля и кровавого, как мясной срез, мрамора на корточках сидел слепой баянист, играл песню «На сопках Маньчжурии», и прозрачные капли из пустых глазниц капали ему на баян, путались в седой щетине. Поодаль девушка плакала, отвернувшись к стене, царапая гладкий мрамор. Рядом с девушкой стояло и валялось множество тючков, узлов, свертков, баульчиков, и было непонятно и страшно, как же она понесет все это сама. «Баянист! – плакала она пьяно. – Сыграй еще, баянист, спой!.. Про погибшую жизнь мою!.. Про того, кто выгнал меня на мороз, про него!.. Куда я теперь пойду!.. Куда!..» И баянист послушно, вворачиваясь, вгрызаясь скрюченными, прокуренными пальцами в кнопки баяна, хлестко и звонко играл, играл ей, плачущей, все, что знал – и «Амурские волны», и «Прощание славянки», и «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...» – а она билась лбом об узорчатый мрамор и выкрикивала: «Я на улице теперь!.. На улице!.. На улице!.. И нету добрых людей!.. Нету!.. Нету!..»

Обвести подземелье упрямыми глазами – и наверх, на свет. Вот она, на свету, на юру, а внизу зальдельный ручей вьется, – посреди хлама и срама, в недрах людского духовитого варева, между резко-синим небом и насмерть забитой ударами веток и ветра беднягой-землей, – густо-малиновая, темно-багряная церковь с золотым Николой в нише, у ног которого лежат сухие цветы, кусок лимона, соленый помидор и три конфетки, бедняцких «подушечки», – а наверху звонарь старается, жарит, шпарит, сыплет, расстилает по небу блестящую скатерку небесных звуков!

Ты шла в толпе спокойно, тяжким шагом. На тебя все оглядывались. С твоих тощих плеч свисала, подобно мертвым крыльям, дубленка, драная собака, без пуговиц; платье, собственноручно пошитое из мешковины, чисто постиранное в щелочи, глухо застегивалось у горла. Волосы развевались по ветру. Хороши были твои волосы, ничего не скажешь – ты все шутила, ухмылялась: пока мужики по ниточке не повыдергивали. Густые, темно-русые, с ранней седой. Их концы, обцелованные ветром, закручивались в кольца. Ты шла гордо и молча, глядя поверх толпы: все равно ты видела каждое людское лицо в отдельности внутри себя, – так, как огонь во печи видит хлеб. Люди не смотрели в твое лицо – они глядели на твои ноги. Глядели: кто вздрогнет, кто подхихикнет, кто постарее, вздохнет и перекрестится, кто закурит

нервно. Кто смело крикнет: «Дура!» Кто поежится презрительно: «Пьяная». Ты будто не слышала этого. Ты шла и шла – просто, как в лес по грибы, как царица на царство. Тебе важно было дойти. Зимой всегда важно дойти. Вьюга, гололедица, ураган, а ты идешь, но и это еще не самое страшное. Зимой у людей лица румянятся, а сердца стынют жестко, как замки на морозе.

Вот и храм близко; теплая стена его, вишневая, кирпичная, маячит, качается; ты чувствуешь, как голодное тело твое горит под дубленкой, как большая свеча, – сейчас из головы вырвется пламя, и, может, его увидят слепые люди. Должно быть, они и глухие, – надо кричать как можно громче. Кричать?! Ну и глупа же ты, матушка! Они, не будь дураки, тут же кинутся, отыщут, позвонят, примчатся, – и явится, по мановению волшебной палочки, фургон с решеткой, как для зверей. И твое лицо будет мотаться в клетке белой птицей. Выпустите меня! А! как бы не так!.. Любишь кататься, дура, – люби и саночки возить!.. В мире все разложено по полочкам, все устроено лучше некуда: гвоздь пригнан к гвоздю, шестеренка – к шестеренке. Почему они все, балды, на ноги твои пялятся?! А ноги-то твои свободны. Свободны ступни, свободны щиколотки и голени, свободны горящие радостью пятки, свободен каждый малый зверюшка-пальчик. Босой человек – это целый мир. Босой – это вера и счастье: верую, что я нищ и честен, верую, что гол и наг, – перед Господом же стою, перед Ним и иду мой путь, может, он, путь-то, и на мою Голую Гору меня приведет, – это и будет счастье, а я и так счастлив уже – тем, что свободен! Ах, нельзя быть свободным от людей?! Ах, они, люди-людишки, кричат мне свои неписанные заповеди?! Так вот можно, а эдак нельзя – и мучься всю сужденную тебе жизнь, садись, октясь, в золотую клетку, да и клетки-то бывают всякие, модные и немодные, и надобно помоднее, повиньетистее клетку-то для себя добыть, – авось, под старость лет, глядишь, и признают тебя, человеке, другие человеки за своего. Гей! Вперед!

Ты – вот в чем все дело – шла босиком по морозу, по снегу. Было б с чего огород городить: ты всегда так ходила, и в людных местах и в безлюдных. И, живи ты в одном городе, народ бы привык к тебе. Народ бы даже, утомившись потешаться, стал держать тебя за достопримечательность: вон, вон она идет, наша дурочка, наша царевна в мешке, – пальцами бы на тебя иноземцам показывал и с иноземцев плату б за это немалую взимал. А ты долго на месте не сидишь. Ты летишь, летишь вместе с ветром. Где с ног тебя свалит – поползешь. Все города твои. Где ты живешь?.. А?.. Молчишь. На тебя тарашатся. Ты – птица-зегзица. Лапки твои легкие, птица, мороз не берет. Печатай на снегу узоры! – пускай за тобой следом идут ротозеи, носом шмыгают, жвачку мятную жуют и по складам читают: «КОЛЬ СЛАВЕН НАШ ГОСПОДЬ В СИОНЕ».

Тебя дергали за платье. Коловращенье толпы: гудеж, скрипеж, словно бы кто-то пищит на дудках, однако какие дудки в руках?!.. – в руках сумки, портфелишки, авоськи, черепаховые ридикюльчики. Пусти! Р-раз – резко – рванула подол из крючьев-когтей: мальчишки, мальчишки, вы же хорошие мальчишки, – «вот тебе, тетка!..» – подножка, ты носом летишь в снег, встаешь моментально, быстрее разгиба пружины. Что же вы какие все рожи?! Зачем вам со мной воевать?.. Ты всегда, приходя на новое место (приснишь жених невесте!..), веришь, что вот здесь-то люди будут добрые; ну, не все, так кто-нибудь; ну не целиком добрые, а капельку подобнее, чем в том граде-волкодаве, откуда она сюда прибрела. Солнце бьет наотмашь; крепка его железная рукавица. Тебе хочется откусить кусочек золотого лука там, вверху. Вокруг тебя немедленно образуется кольцо из зевак. И, гляди, они по-настоящему зевают! – обглядывают тебя и зевают, и лузгают семечки, и двигают челюстями неистовую жвачку, и гремят матюгами, – а если на Руси раньше молились, а теперь плюются подлыми, с вывертом, ругачками, то черное облако сгущается над ней, копя страх и возмездие, – гундосят похабные песни, мутно и печально смеются над тобой, а радостно и ярко смеяться они не умеют, что ли?.. Ну, час твой пришел. Вот ты на новой земле; вот тебе надо Слово сказать. Ибо без Слова явленного народ пуст, как кувшин, надетый на плетень. Визг машинешки!.. – крутанулась перед ногами. Не за тобой ли?.. Из дверцы выплыла богатая мамаша, высыпались ее дети-утята, три хоро-

шеньких утеночка в шапках с помпонами. Утятя запищали: мама, мама, смотри-ка, здесь кино снимают!.. здесь тетю голую на снегу снимают!.. давай посмотрим!.. ну давай!.. ноги у нее красные, как гусиные лапы!.. а ей много денежек за съемки дадут, да, мама, да?..

Ты набрала в грудь воздух, подняла руки и обернула их ладонями к толпе. Горячий невидимый шар возник между твоими растопыренными ладонями и толпой. Ты изо всех сил удерживала этот шар, чтобы он не покатился – ни на тебя, ни на них. И он, шар, слушался тебя, колыхался. Воздух стал раскаляться, и из-под твоих голых пяток по снегу с косогора, где грелась в лучах церковка, побежали два ручья. Кто-то свистнул пронзительно. Плевки и ругань стихли. Народ все прибывал; людское кольцо разрослось в небольшую толпичку, затем – в многоголовую сходку, и вскоре весь косогор перед церковью был усеян кучно шатающимся, гомонящим народом. Народ! – эх, ух, ах, вжик, ножик, ни слова доброго, только ругань без предела. Ты задержала на миг дыхание и послушала, как заледенелые почки березы стучат друг об дружку. Тебе пришел срок говорить, и язык твой пересох, а губы слиплись.

– Любимые! – высоко крикнула ты, и крик хлестнул по лицу всю толпу.

– Сколько тебе за театру-то заплатили?! – взмахнул из дальних рядов ответный визг, противный.

Не слушай. Только не слушай. Уши твои залеплены воском. Огонь над твоей головой. Дальше давай. Говори дальше. Ну!

– Любимые, я много ходила по свету. Я пыталась увидеть, куда мы все идем. Потому что меня спрашивали: куда мы все идем? Ты блаженная, говорили мне, и скалились в смехе, и спрашивали: раз ты блаженная, ты скажи нам, куда мы все идем? Может, тебе сон какой приснился про наше будущее? Да, был сон, помню. Одна волна холода, потом другая. И вот уже крыши все под снегом, и подо льдом – океаны. И ни кораблей, ни людей, ни детей: саван. Но... – ты остановилась и сглотнула, преодолевая простудный хрип, – когда я рассказывала людям этот сон, они гневались на меня, гнали меня прочь, пытались избить. Смеялись и говорили: эх, эх, дура ты! гляди, как мы хорошо живем! Как мы чудно стали жить! Все-то у нас есть, и колбаски копчененькие, и мясо в фольге, и соленые орешки, и кексы под названием: киви, миви, – хлеба вдоволь, жвачки детям вдоволь, со всего запреты сняты: с грудей, с животов, с иных телесных дырок и выпуклостей, – хочешь ешь то, хочешь это, хочешь в храм ходи, хоть весь лоб разбей, хочешь банки грабь, только черные очки купи и хорошее оружие, а то и танк хороший – если ты сейчас богат, ты все можешь купить: это ли не счастье, дурочка?.. – и также все продать, что тебе негоже. Пошла прочь! – кричали мне. Не мути воду! У нас теперь есть все, и мы счастливы!

Помолчи. Помолчи. Пусть они услышат свист ветра.

– «Вы – счастливы? – спрашивала я их. – Тогда почему же вы пристаёте ко мне, дуре, чтобы я вам ответ на вопрос дала: что с нами будет, куда мы все идем? Разве вам недостаточно сегодняшнего дня и копчененьких сосисочек?..» – Ты опять передохнула. Тебе было тяжело громко говорить, обнимать голосом большое пространство; ты почти кричала, и от напряжения лопались связки, да еще ветер, невесть откуда взявшийся, гудел и заглушал тебя. – Да, отвечали мне они, да, сосисочек недостаточно. Мы же умные люди, мы же мыслящие люди, мы думаем о будущем своих детей, своих внуков и правнуков! Что-то висит в воздухе, какая-то опасность.

Под ветром скрипела старая береза, росшая близ паперти; Солнце лило желтые сливки на чахлые и нарумяненные лица, высвечивало рыболовные крючки и блесны серег в ушах баб и девок, и лучи снопами отражались от широко распахнувших объятья крестов.

– Хорошо! Я вам скажу здесь и сейчас, где опасность, где... – ты закинула лицо к небу, – где смерть. Смерть настоящая, какой умирают все люди, не есть зло. Настоящая смерть, по старости, по пройденному пути, есть рождение. Я была за порогом, и я знаю это. Вы меня видите – я умерла, и я восстала. Бог судил мне еще пожить, зато я крепко запомнила все, что было там, за порогом. Настоящая смерть – не смерть, а жизнь. А зло – в злой смерти. Есть два вида

злой смерти: либо пустота, либо геенна. Пустота – это когда при жизни твоей все вокруг мертвеет и застывает. Тебя ничего не радует, кроме еды, твоих сосисочек. Но и они вскоре перестают тебя радовать. Ты еще находишь малюсенькое наслаждение в соединении тел: а почему оно теперь такое малюсенькое, крохотуличное?.. ведь недавно еще все горело, гремело, бугрилось вулканами!.. – ты бегаешь по свиданиям, ты вползаешь и падаешь во все новые и новые постели, но это не спасает, и в конце концов тебе становится нехорошо и гадко и от того, что ты уже никак не можешь назвать любовью, даже твой наболтанный наглостью язык не повернется. И внутри начинает расти пустота. В ней тонет все, что бы ты ни подумал, на что бы ты ни взглянул, что бы ни почувствовал. И тебе становится все равно. Пустота растет, а все внутри умирает. И когда все внутри заполнит одна пустота...

Ты молчала.

– Когда умрет душа! – крикнула ты. – Умрет навек и никогда не воскреснет! Когда молить Бога о воскрешении уже нельзя будет, ибо молить будет нечем, и воскрешать будет – нечего! Вот тогда вы оглянетесь вокруг. Руками всплеснете! Завизжите от отчаянья! Глухое место, пустое – душа. Заросшее чертополохом, заваленное гнилью всяческой. И вы его таким словом называете – ду-ша?!.. Вот оно, Мертвое Поле! Ваше – Поле! Ваша – жатва! А вы про Бога себе толкуете! В церковь ходите! А вы давно уже разучились отличать, где Бог, где Дьявол – вам все едино, ибо все едино и все равно мертвой душе!

Толпа качалась и колыхалась, слоилась черными бревнами, двигала дремучими головами, а в сердцевине шевелящейся пчелиной сутеми стояла ты, как бы висела в воздухе – худой стручок, вылушенная шишечка на колючей ветке века, – и, терпеливо снося насмешки и плевки, обращала себя в Слово, потому что знала доподлинно, земляным знанием и звездным нюхом: Слово пронзит копьем века, и упадет под ним тот, кто слаб и хил, и смело встретит его грудью воин. Были ли воины в толпе вокруг тебя, в плюющей и рыгающей своре, грызущей шоколадки в цветной фольге? Были, конечно же, были; иначе не кидала бы ты вдаль свое остроконечное Слово, и не улыбались бы в животах у матери грядущие дети, видя летящее над собой твое золотое копьё.

Ветер гнул и мотал ветви березы, и далеко в ветвях, под самой медвяной, сладкой синевою неба качалось пустое гнездо, рискуя вот-вот оборваться, упасть. Люди тесней и ближе придвигались к тебе. И ты, окруженная ими, взятая в плен, прижалась спиной к церковной стене, раскинула руки и крикнула:

– Попробуйте троньте меня! Троньте – и церковь обрушится, задавит вас!

Смешок снежком ударил в лицо, метко пущенный. И ты сломалась внутри, согнулась, села у стены, уткнула патлатую голову в ладони и заплакала.

Кондак Ксении о возлюбленном муже ея

Я жила тогда в пустой церкви, где не было ни икон, ни фресок, в мастерской художника Юхана. Тогда я не знала, что Юхан станет моим мужем: он пустил меня пожить милости ради, нашел меня на мосту ночью, я задумчиво глядела на черную маслянистую воду и плакала, хотела туда прыгнуть, наверно. Устала я тогда очень, устала. Не хотела жить. А вода была черная, нежная. Как шаль матери... Елизаветы, я этой шалью ее в гробу накрывала. И вдруг меня за локоть кто-то сзади – цап! Смотрю: мужик. Жилистый, сильный. Весь зарос бородою, одни глаза светят. «Это что ты собралась делать, а?» – грозно спрашивает. «Топиться», – просто и печально я отвечаю. «Ну так, хорошенькое дельце», – трясет меня за плечи, и к себе притискивает, и щеки мне холодными руками растирает, чтобы очнулась я, значит. И я внезапно увидела все сразу: чернь воды, желтые масляные пятна фонарей, искристый гранит парапета, летуче-мышье крыло призрачного моста, чужое бородатое лицо, свое лицо, как морду больного суслика, – весь красивый ночной мир, живой мир увидела я и разрыдалась. А он утирал

мне жесткими ладонями мокрое блюдо лица и гудел над ухом: «Ну, Юхан я, Юхан, я северный человек, ты меня можешь не пугаться, ты просто человек, я просто человек, пойдем ко мне – вот гляди, перекрещусь, тебя не обижу и пальцем не трону». И перекрестился – как-то не по-нашему, а слева направо, и не троеперстием, а всею ладонью. И я с ним пошла.

Он жил и работал в маленькой церкви, разграбленной и опустошенной и отданной ему властями под мастерскую, ибо Юхан был художник, – а я не знала, что это такое – художник, и, когда на меня со стен ринулись, упали, покатались краски, бездна красок, волны и водопады, когда закричало красное, запело гордую песню синее, ударили в меня солнечные стрелы осени и лица и тела нагих красивых женщин, – я ахнула, присела на корточки, замотала головой и закричала: «Я ослепла, я ослепла!» А Юхан засмеялся, поднял меня с полу и говорит: «Дурашка, это же мои картины. Садись. Я тебе все покажу». И я села прямо на пол, на холодные каменные плиты бывшей церкви, и он стал мне выкладывать на полу свои работы, и я гладила их кончиками пальцев и смеялась от счастья. Он клал передо мною на древние камни и портрет старой матери, и обнаженную женщину перед зеркалом с жемчужной ниткой на гладкой лебединой шее и с глазами коровы, питающей тельца сосцами, и корабль, стиснутый льдами, военный сторожевик в снегах и льдах Севера, – и сзади на холсте было написано: «Остров Колгуев», – и собак, много собак в упряжке, а в санях сидит раскосый человек с лицом, как медная тарелка, и над его головою горит гигантский веер разноцветных – синих, золотых – сполохов! Я спрашиваю, задыхаясь: «Юхан, а это... что», – и указываю пальцем дрожащим на эти огни над головой каюра. Юхан как засмеется! Как засмеется, загрохочет будущий муж мой! «Это, дурачочек, – сказал он и обнял меня за плечи крепко-крепко, – Северное Сияние! Это огни такие на небе ходят! Они только на Севере видны. Может, и у нас есть, только глаза наши ослабли, и мы их уже не видим. А там небо ближе, воздух чище, людей меньше, звезды рядом, – вот и видно их. Нравится?...» – «Лучше всех эта картина!» – выдохнула я, склонилась и дотронулась губами до мазков, изображающих Северное Сияние. И, как только я это сделала, – так все во внутренностях пустой церкви переменялось, во тьме забегали искры, во впадинах и нишах, там, где были когда-то иконы, появились темно-золотые лики, и тихая музыка раздалась в вышине. Юхан сжал меня за плечо сильнее и шепнул: «Не бойся. Это призраки. Они часто приходят по ночам. Они тоскуют по своей церкви. Иной раз их так много, я и работать не могу. Сначала было страшно. Потом – привык. Они добрые, не обижают меня. И тебя тоже не обижают. Ты скажи им что-нибудь!»

Прямо над нами, в темной каменной нише, светилось нежно-золотым светом мужское лицо. Я различила: морщинистый лоб, лысину, пух золотых волос над ушами, крупный нос, склад ласковых, скорбно сжатых губ. Человек держал в вытянутой ладони подобие детского игрушечного города. По золотым морщинам его щек текли невидимые слезы. «Святой Николай, – прошептал мне в ухо Юхан. – Святитель Николай, чудотворец, Никола Угодник. Помогите ему. Он может сделать чудо». – «Он... уже сделал чудо», – шепнула я в ответ. Юхан понял, склонился и поцеловал меня. Не так, как женщин целуют. Как детей, на сон грядущий: крепко, в щеку, горячо и вкусно. Ведь он не спросил меня даже, откуда я, кто я! За воровку не принял!

Так я осталась жить у мужа моего, Юхана. Да, мужа, ведь Николай Чудотворец в ту же ночь и повенчал нас, со стены пустой сошел к нам, два венца над нашими головами держал, два колечка нам дал, – только шум поднялся вокруг нас, когда он нам колечки протянул, и голос я услышала: «Будете друг с другом вместе в любви, в браке Предвечном, не торопитесь. Это еще не ваша ночь. Ксенин надо очиститься от многая скверны, от тягости, давящей непомерно на сердце. А когда она легкая станет, легче птичьего крыла, чистая и звонкая, – тогда берите и вкушайте друг друга. А нынче погодите. Погодите. Не трожьте плоть вашу. Дух ваш еще не готов к брачному пиру». И колечки упали на пол и покатались, а Юхан взял меня на руки и понес к своему нищенскому ложу – сундуку, на который были набросаны рогожки, негрунтованные холсты, старый спальный мешок и траченная молью шкура белого медведя. И я, когда

он меня на шкуру опустил, вспомнила эту картину! Его картину! Он в тот вечер передо мной ее и выложил: льды, льды и льды, снова льды, черное небо, алая, как нож в крови, полоса заката полярного. Большая льдина, и медведица на ней лежит убитая, рана в боку, глаза ее уже закатились, когти заиндевели, а рядом с ней, у бока, сочащегося кровью, теплого, еще не застывшего, – медвежонок! Поднял морду, скулит! Плачет по мамке! Белый, маленький, бедный! И холод, холод, и полярная ночь. И где эти люди, кто выстрелили в него? За картиной?.. И я поняла, где. Это с а м Юхан выстрелил. Это с а м Юхан плакал, сжав ствол винтовки, по убитой им медведице. Голодный, холодный моряк. Война. Медведица – еда. А ее сынок? Живой голос медвежонок разрезал меня надвое. «Эта вот шкура... ее?..» – вышептала я осторожно, и губы мои задрожали. «Ее!» – помолчав, кивнул Юхан, будущий муж мой.

«Ты свободная», – сказал он мне, когда я, под пристальным взглядом его, начала стаскивать с себя свое мешочное, дурацкое платье. «Ты – свободная. Тебе все трын-трава. Ты – настоящая. Все другие вокруг поддельные, а ты вся настоящая. И ты должна оставаться такой. Иначе... гибель придет всему нашему миру, вот что. И поэтому... – он отвел рукой мою руку, потянувшуюся сдернуть последнюю, нательную рубашонку, – поэтому не спеши передо мной. Я сам медленный. Мне не нужно твое тело. Мне нужна твоя душа. И не вся – она свободная! – а только та ее часть, которой нужен я и моя душа. Спи». И он поцеловал меня в лоб. И ушел спать куда-то в уголок. А среди ночи, полной золотых призраков, не выдержал – подошел к сундуку, где я лежала, скрючившись, встал на колени передо мной, положил голову мне на колени, как пес, и долго так стоял, не шелохнувшись. Но я видела, что ему хорошо и счастливо, и боялась потревожить его.

Так стала я жить у Юхана в мастерской. Я варила ему всякую еду из чего Бог пошлет. Собирала в столовых остатки блинчиков, оладий, а когда он спросил однажды, в шутку: «Почему сама блинов не напечешь мне никогда?» – раздобыла муки и яиц и такие блины напекла!.. жалко, не было к ним икры, как у купцов раньше. Он сказал: «Твое тело должно быть звенящим, радоваться Солнцу и ветру!» – и я стала ходить в ночной рубашке и летом и зимой. В сильные морозы накидывала прямо на рубаху шубейку и так ходила. И правда, тело начало звенеть и розоветь, ноги наливались светом, и мне было так легко, будто меня сначала приговорили к смерти, а потом помиловали, и вот я иду и на весь мир пою. Юхан сам стирал мою ночнушку – грубыми, коряжистыми руками, напоминали мне эти руки корни приморской сосны у северного моря, где мы жили с матерью, с Елизаветой. Он стирал мою рубаху в тазу и пел при этом старые тюремные песни: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно!..» Однажды я попыталась спросить о его жизни. Нежно так спросила, тихо. Он сказал что-то тихое, невнятное: о женщине, родившей ему двоих детей и сошедшей с ума, о разных других женщинах, мучивших его, танцевавших перед ним нагишом в табачной ночи, бросавшихся перед ним на пол ничком и целовавшим его ноги, – не оставляй н а с, Юхан! мы оставляем т е б я, Юхан!.. – и передо мной стала плясать и выкобениваться вся эта вереница Юхановых женщин, как столбы бешеных огней, я зажмурилась, отогнала видение и улыбнулась Юхану: прости, что я спросила тебя об этом, я не со зла, я от чистого сердца, я их всех люблю, несурзных и жалких женщин твоих. И Юхан улыбнулся мне ответно и сказал: да ты что, Ксения, это я у тебя должен прощения просить, что у меня такая богатая женщинами жизнь была, но я и их всех тоже простил давно, – а ты?.. У тебя богатая мужчинами жизнь была?.. «Богатая», – сказала я и заплакала. И опять он передо мной на коленях стоял и страдал: дурень, осел, где голова моя была, вот на свою беду спросил.

Потому что я, живя у него тише воды, ниже травы, на правах то ли прислуги, то ли натурщицы, то ли подружки, отмывалась, считая время, дни, секунды, часы, от своей богатой, усыпанной вдоль и поперек золотом и алмазами, жизни, – такой богатой, что захотела я тогда ночью, на мосту, всю ее да вместе с богатством всем – на дно, к рыбам, во тьму.

Юхан мой, Юхан! А первую нашу брачную ночь век буду помнить! Ты писал картину, писал, потел, ругался тихо. Бросил кисти, помыл руки. Я принесла тебе черного хлеба, хвост соленой рыбы, горячего сладкого чаю. Ты ел и ласково глядел на меня. И я ощущала себя красивой – такой красивой, как на холсте в большом музее красавица, сидящая близ водоема с письмом в руках, – вся голая, мокрые волосы забраны в узел, а у ног ее арапчонок с таким же восторгом, как Юхан на меня, на нее глядит. Меня в тот музей в рубахе да босиком не пускали долго. Юхан закричал, что я его натура, что ему надо для картины поглядеть босую женщину на фоне паркетов и золоченых рам! И нас пустили. А сейчас ты ел, муж мой, ел ржаной хлеб, запивая горячим чаем, – слава Богу, был у нас еще сахар в стеклянной баночке!.. – и со значением глядел на меня, необычно, не так, как всегда. И я отщипывала от хлеба кусочки дрожащею рукою. «Ксения, – сказал ты хрипло, – Ксения моя... Когда я умру, ты будешь помнить обо мне?..» И бросился ко мне, и прижался головой к моей груди, и я гладила тебя по голове, плачущего, большого мужчину, малого моего ребенка. И говорила, тоже давясь слезами: «Ну конечно, век я тебя буду помнить, дорогой Юхан», – как будто предчувствовал, будто знал он свою несчастную судьбу! «Святой Николай сегодня нам разрешает», – сказал ты сквозь слезы и поднял рукой мое лицо за подбородок. И мы раздели друг друга – не быстро и торопливо, как на пожаре, а медленно и торжественно. И мы принадлежали друг другу – хотя я дала зарок себе больше не принадлежать никому, кроме темной тьмы, кроме воды сырой. Но от воды ты меня спас, а я тебя не спасла от твоей беды. Даже если б и захотела – не спасла.

Ты был странный художник, Юхан. Ты мог часами, как китайский монах, сидеть перед начатой картиной, раскачиваться, ругаться сквозь зубы, умирать. Не прикасаясь к кистям. Потом под кистью – месяцы спустя – начинало появляться что-то бугристое, в рывтинах, наростах, нашлепках. Росло, поднималось тестом. Из тьмы выступали фигуры и лица. Худой мужик стоял спиной к окну. В окне хлестал дождь. На столе молчали бутылка с водкой и стакан, и еще рыба лежала – золотясь, каменея. И все это бугрилось, вспучивалось, ходило ходуном. Это не было живописью. Это было поверхностью моря, зыбью, пляской. Это было хлещущей кровью, ибо не дождь шел за окном, а кровь. Ты писал не плоть, а кровь этого мира. И, может, за одно за это ты был взят.

К тебе никто не приходил, никогда, зато ты брал меня иной раз в свои странные миры. Приходил, ночью срывал меня с нашего укутанного шкарами сундука: «Одевайся! Идем! Ждут нас!» Я накидывала рубаху и шубейку, и мы шли – по ночной столице, кишашей червями огней, стреляющей искрами неона. Мы шли, шли, ноги мои замерзали, но все равно мы приходили. Нам открывал дверь страшно, пугающе худой мальчик, юноша, сигарета клеилась к углу его смеющегося рта. «Вот и вы», – произносил юноша надменно. Мы двигались дальше, во мрак помещения. С потолка свисали веревки, на стене висели гитары и арфы. Нас усаживали за подобие стола – мне казалось, это была старая бочка, укрытая дырявым оренбургским платком. На платок ставили угощение. Чаще всего это была водка – в чем угодно: в стаканах, бокалах, чайных чашках, ореховых скорлупках, – и к ней закуска в виде длинной вяленой чехони, разрезанного надвое лука, вареной картошки в мундирах, – чудом было, если подавался кусочек лимона или яблоко: это считалось уже царским пиром. Надменный пацан вылепливал изо рта сигарету, срывал со стены гитару. Ударял по струнам. Длинноногая, похожая на тюльпан, женщина обносила всех маленькими чашечками с горьким напитком – кофе не кофе, чай не чай; я пыталась распробовать – что-то было намешано, травное, терпкое. Парень пел. Мы пили опасный кофе. Голова кружилась, и я летела вперед, вперед, вцепляясь, чтобы не упасть, в ручки кресла, в край стола. А парень пел. Это было безумие и сила. Это был ледяной воздух, захлестывающий горло. Ледяное копьё, летевшее насквозь, пригвождавшее не к доске, не к земле – к пустому подземелью. Я ясно чувствовала близ себя ветры и завихрения, принадлежащие живому. Крупная дрожь колотила меня, и тайком, под ночной рубашкою, я крестилась, отгоняя бесов. Бирюзовый крестик, что Юхан целовал по ночам, уставая целовать мою

грудь, был со мной, и я ничего не боялась. Но духи были рядом. Духи гладили меня по плечам и спине, заглядывали в глаза. Духи вдували мне в рот любовное искушение, и тело мое корежилось в корчах страсти, немислимого любовного томления, пока худой, кожа да кости, пацан, одержимый гордыней, пел страшную песню свою. Кончики моих грудей горели огнем. Я извивалась в кресле, упившись черным зельем из чашечек. Во мне, глубоко внутри, выросла огромный бутон с черными лепестками, напитанными моей женской кровью. Лепестки раскрывались, язвя мое нутро, рот мой жаждал и искал. Юхан сидел смертельно бледный рядом со мной, и по лунному лицу его, зверино-бородатому, ходили синие тени неба. Я, опоенная отравой, желала не Юхана. Я желала этого мальчика. Он, чувствуя клеймо моего взгляда, швырял гитару наотмашь в грязный угол и шел ко мне – через хлам и лунный мрак насыщенной электричеством комнаты. «Я стряхиваю пепел моей сигареты в тебя, – пел он мне на ухо, – я наглыми пальцами ощущаю твой соленый жар, я нанизываю тебя на себя, как драгоценные бусы – на нить, ты бусина моя, но рвется нить, и в снег летят алмазы-турмалины». Он оттягивал за волосы мою голову назад, я вслепую шарила по его животу, груди, пальцы жгли застежки, молнии, крючки, дешевые нащепки. Он прижимался животом к моему рту, и я кричала от пламени.

Разум мой мутился. Юное обнаженное тело плясало и выло предо мной. Я выла и раскачивалась вместе с ним. С меня градом лил пот, и под рубашкой моей было все мокро. Он клал меня поперек кресла, и его раскаленная рука, обжегши на миг меня снаружи, плясала уже внутри меня, и я извивалась и рыдала от ужаса и торжества. Все вокруг пели одну громкую песню, похожую на древний гимн. Там были очень древние слова. Вот они, я их помню: «Ликуй, твердь, раскалываемая надвое жезлом Бога твоего». Я близко видела лицо моего мучителя. Юный дух, вывернутые негрские губы, редкие зубы, косо стоящие глаза, ранние страдальческие морщины на лбу. Это его гимн пел, твердил ночной народ. И я должна была быть счастлива оттого, что меня касались его руки, его губы и его чресла. Он был светоч и гений, а я была маленькая дурочка с улицы, которую подобрал его друг. Но переворачивались песочные часы. И он падал передо мной ниц. И это он уже был пацаненок и придурок, а я была царственной женой, избранницей его богоизбранного друга, ведуньей и магистрессой, и на коленях он просил у меня прощенья за свои непотребства. А Юхан сидел рядом. Юхан безмолвствовал. Юхан не шевелился и не произносил ни слова. Ведь Тот, перед Кем я буду отчитываться в содеянном, всегда пребывает рядом со мной.

Юхан показывал мне жизнь миров, чтобы я могла их сравнивать или ненавидеть. Юхан водил меня из мира в мир, нимало не заботясь о том, что я могу устать, измучиться, выдохнуться. Он мыслил – она двужильная, выдержит. И я выдерживала. Что мне оставалось делать?

В лунные ночи я вставала, бродила по церкви. Передо мной раздвигалась тьма. Вокруг меня водили хоровод картины Юхана. Он спал крепко, особенно напившись водки. Борода его торчала вверх, косым лучом указывая на льдистую звезду за оконной решеткой. За год до смерти он начал одну картину, да так и не закончил ее. Там было черное, дегтярное небо. Оно возвышалось над холстом, торчало из поверхности холста черным курганом. Прямо из черного неба, как из насыпи, выросла нежно-белый светящийся крест, и вокруг креста летали два белоснежных ангела, похожие на бабочек-парусников. В руках у ангелов были белые, перламутровые трубы, и ангелы дули в эти трубы, выдували музыку. А крест рос прямо из страшной черноты. Если присмотреться, там, в черноте этой ужасающей, видны были клубки змей, черные смеющиеся лица, шевелящиеся крючья и когти, языки и глаза, живущие отдельно от лиц. Но крест рос упрямо и сильно. Лез вверх. За край холста. За грань жизни. Туда.

После смерти я нашла у него в столе, среди окурков, трубок и мундштуков, записную книжку. Плача, читала ее. Там, среди прочих записей, было накарябано его родною рукой:

«Что надо делать для того, чтобы жить и приблизиться к Богу:

1. Есть рис и пить всегда хорошую водку;
2. Приходить как можно чаще в лес, ложиться на траву, прижиматься щекой ко пню, допускать, чтобы по тебе лазили муравьи и другая живность;
3. Курить хорошие (желательно наши, русские) сигареты и, может быть, даже нюхать хороший табак, чтоб прочихаться от простуды;
4. Заниматься любовью часто и в свое удовольствие с красивыми женщинами, пахнущими медом и сосной, и с неопытными девушками, пахнущими лимонной коркой и молочком одуванчиков;
5. Бросать всех и вся, уединяться, ибо только в одиночестве художник созидает: убив отца и мать, убив четырех воинов из касты кшатриев и пятым – человека-тигра, брахман идет невозмутимо. Все это иноземная ерунда, конечно. Надо просто Богу своему молиться и белый свет любить».

И я перевернула страницу и увидела сквозь мерцание слез: «Ксенька! Ксенька! Если бы не ты! До чего ж я подыхаю в этом мире! До чего я хочу в е р н у т ь с я! Ты одна держишь меня здесь. Да не удержишь. Кто будет стирать тебе ночную рубашку, брак ты мой предвечный?!.. Но ведь и я не безгрешен, потому что осужден...»

Запись обрывалась. Картина с черным небом и белым крестом внимательно смотрела на меня с мольберта. Я встала перед картиной и запела прощальную песню. Я подошла к сундуку, где Юхан спал, медленно возлегла всем своим долгим телом на его вытянутое во сне тело, чтобы запомнить, вобрать в себя напоследок руки-ноги – сполохи, пожарище, костер живого тепла, прижалась лицом к лицу, чтобы открылись сонные глаза человека и он ожег меня ими, любящими, напоследок.

Поминальная песнь Ксении о любимом супруге ея

Его убили. Его убили в подворотне. За что? Он возвращался поздно, за полночь, нес в кармане бутылку водки – самой лучшей, чистейшей, от которой не умирают. К нему подошли четверо. Он сказал, веселенький: «Ну чо, ребята, ништяк, я сегодня выпил, давайте выпьем еще, хотите, картину вам подарю!» Он задумал откупиться от своей смерти своей картиной. Не вышло. Она стояла, смерть, и четыремья харями смеялась в лицо моему мужу. Она повалила его на мерзлый асфальт, топтала восьмью ногами, восьмью руками раздирала ему рот, подмышки, выдавливая глаза. Он кричал. Видел ли он перед тем, как навечно провалиться в темноту, свой белый недописанный крест? Труп, обезображенный донельзя, нашли утром: около него стояли две собаки и истошно выли, поднимая заиндевевшие морды к Луне. Когда меня позвали, я не смогла опознать тело. Я узнала, что это Юхан лежит здесь, на снегу, лишь по пустоте, мигмом возникшей внутри меня, по выжженной болью каверне.

Я перекрестилась, поплелась в мастерскую. Ноги меня не слушались. Я попыталась раскурить трубку. Затянулась. Получилось. Дым едким опьянением кинулся в голову, заволок зрение, я перестала осознавать себя: я была уже не я, а мертвый муж мой Юхан, художник милостью Божией. Дрожа, я стала рыться в его одеждах. Напялила, что под руку подвернулось: старые, испачканные маслом и пиненом штаны, пятнистую рубаху, синий широкий рабочий свитер, стоптанные башмаки, под названием «гостевые» – он в них в гости ходил со мною, в Страшные Миры. Рванулась к зеркалу. Э, нет, волосы остричь. Скорей. Где ножницы? Ножниц не было. На мольберте, рядом с неоконченной картиной, валялся мастихин, острый, как нож – Юхан иной раз намазывал им масло на бутерброд, отрезал хлеб. Я схватила мастихин и махнула по волосам – раз, другой. На меня из зеркала, огромного, рабочего, во всю стену церкви, глядел напуганный тощий мужичонка, прижимавший к груди мастихин, с волосами торчком, с искусанными в кровь губами, – рекрут перед погружением в зарешеченный зеленый вагон.

Да, я надела его одежду и стала носить ее, не снимая, и носила Христа ради, так же, как прежде – выцветшую, любимую им ночную сорочку. Одежда – не просто человечесья шкура. Это часть нашей кожи, вериги, воспевающие нашу свободу. Юхан, как художник, знал это. Я без страха появлялась в его одежде везде – на улицах, рынках, в подземных переходах, у его друзей, там, в Мирах. В его одежде я сидела и просила подавание у церкви Всех Святых на Кулишках, благодарила, если мне клали в руку грош на хлеб и на молоко, и когда меня спрашивали, как меня зовут и кто я такая, я, выпрямляя согнутую в моленье милостыни спину, называла его имя. От меня шарахались, крутили пальцем около виска. Однажды приехала серая машина с красным крестом поперек дверцы, вымаршировали из нее воины-санитары, первый нес на вытянутых руках черную сатиновую длинную рубаху с охвостьями завязок и шнурков. «Смирительная рубаха!» – истошно закричала девочка с букетом тюльпанов в руках. Смелые воины направлялись ко мне. Я сидела, поджав под себя ноги, около ступенек, ведущих под землю, рядом со мной, на снегу, стояли, приткнутые к камешкам, чтоб не упали, три ярких этюда Юхана: два полярных, северных, один – большой реки, с просторами и храмом на бугре. Ото льдов били лучи. Осенний, речной, изумлял красной запекшейся кровью, густым золотом скифов-сарматов, сканью кленов, где сплошь – лалы и яхонты. «Как тебя зовут?» – «Юхан Лентунен». – «Чьи это картины?» – «Это мои картины. Я сам их написал. Во славу Бога». – «На-пи-са-ла, дура, ты же баба». – «Я сам их написал, мои картины. Отойдите. Вы заслоняете картинам Солнце. Они должны пить Солнце до той поры, пока их не купили, потому что картины, как и люди, любят Солнце и свободу, и воздух, и снег. И их можно кормить, как птиц». – «Забирайте, чего глядеть!» – крикнул главный санитар. Ко мне кинулись, подхватили меня под руки, потащили. Я лягалась и кусалась. Этюды топтали каблуками. Вопили: «Мазня! Дерьмо!» Из церковных врат на крики вышел батюшка. Не припомню теперь, как его звали. Подобрав рясу, он бросился бежать к копошащимся на снегу, орущим людям. «Что вы деете! – кричал он, задыхаясь. – Что деете, богоотступники! Отпустите ее сей же час! Эта девочка ни в чем не виновата! У нее муж умер страшной, жуткою смертью! Видите, слепцы, она ходит в его платье, говорит его словами, побирается Христа ради, продает за бесценок его работы, чтобы выжить, чтобы есть и пить! Если вы увезете ее, на ваших матерей, если они у вас есть, обрушится кара Господня!.. Пустите ее!.. Пустите!.. Иначе на вас молния падет!.. Гнев Господень страшен, вы еще не знаете его!..» Подбежав близко, священник крепко вцепился в меня. Санитары, с перекошенными от злобы лицами, испугавшись гнева Господня, выпустили меня, как птицу. Я упала на колени перед растоптанными во льду и снегу этюдами, легла на снег грудью, животом, обнимала и целовала родные, любимые краски, а батюшка присел на корточки близ меня, гладил меня по непокрытой голове, крестил и бормотал: «Носи, носи его имя, живи его жизнью Христа ради, и все грехи прошлые и будущие тебе отпустятся, и многих людей через это исцелишь и спасешь. Сама не знаешь, кто ты; я догадался. Холодно здесь тебе. Зайди в притвор, я вынесу тебе пирога, поешь. Стой! да я куплю лучше у тебя твою картину. Вот, возьми.» И батюшка, дай Бог ему здоровья, если он сейчас жив еще, выгреб из потайных карманов все сумасшедшие деньги, что были при нем, – рублевки и трешки, и медную мелочь, и гривенники, все до копейки, и мне в карманы Юханова пиджака насовал. «Твоя картина столько не стоит, но не взыщи, отдаю тебе все имение свое». И улыбался, и бороденка дрожала, и глаза блестели на резучем зимнем Солнце. «Иди, дорогой Юхан, пиши свои картины и не поминай меня недобрым словом. А если не вмоготу будет – приходи ко мне. Отец я...» – вот беда, забыла напрочь!.. то ли Игорь, то ли Никодим, то ли Вадим – не помню...

Имя, имя, человежье имя. Все, что названо именем, неподвластно смерти. Все, что окрещено и благословлено, – живет. Есть имена, как кольца, надеваемые на руку при венчании. Вернувшись в мастерскую с растоптанными этюдами, согрел руки дыханием, заползши под все пледы и медвежьи шкуры нашего супружеского сундука, я, сунув руку под подушку, сварганенную из негрунтованных холстов и свернутого рулетом ватина, нашла там два наших вен-

чальных колечка, – те, что хотел надеть на наши пальцы святой Николай, те, что, звеня, ука-
тились в беспросветное время.

Оба кольца я, заливаясь слезами, надела на оба безымянных пальца своих, на правую
и левую руку. Через много лет оба кольца снимут с меня в страшной больнице, в палате, гудя-
щей безумцами всех сортов, там, где я назначена была выстоять утешительницей и кормили-
цей, где за меня цеплялись, где мною выживали, – снимут, чтобы играть в них, скалясь, катать
их по заплеванному полу, вкладывать их во все срамные и тайные складки кожи и, наконец,
оголтело хохоча, съесть, заглотать их вместе с земляной больничной кашей.

Ксения, бродя по городу в одежде Юхана, останавливалась перед детьми и засматривала
им в глаза. Ребенок, Божье создание. Вот я гляжу на тебя. Вот ты глядишь на меня. Ты ста-
нешь мной когда-то. А я уже тобой стала – сейчас. Дети выбирают, от каких родителей им
появиться на свет. У Ксении не осталось от Юхана дитяти, и она неистово желала разломить
себя на кусочки и раздарить детям, глядела им в лица горестно и счастливо, как их всеоб-
щая мать. Все детские лица казались ей похожими на ее лицо; она покупала на рынке козью
шерсть у литовских торговков, вязала носки и варежки, подходила на улицах к вывалянному
в снегу пацану или нянчащей кукленка девочке и совала им в руки свои нехитрые изделия.
«На, возьми, возьми, носи, теплее тебе будет в лютом холоде», – шептала Ксения, изо всех сил
удерживая слезы в глазах, чтоб не выкатились.

Дети пугались ее. Кто – бросал прочь подарок. Кто – осторожно брал в руки, пригляды-
вался, нюхал даже; несогласно мотал головой, нехотя отдавал обратно: «Возьмите, тетенька,
мне мама не велит чужие вещи брать». Ксения совала вязанье в суму, за пазуху, притискивала
к груди, как прижимают кошку, и редкие ее слезы сочились на грубую шерсть.

– Тоска, тоска, – бормотала она, идя по солнечной и ветреной улице, прозрачной
от искрящихся карамельно сосуллек, наступая всею тяжестью стопы на хрустящий ледок
изобильных луж, – вот какая тоска, оказывается, безлюбье. Бог меня обделяет чужим теплом, –
ну так и что же?.. Зачем, лишенная в сем мире дитяти, я ищу его по всем долам и горам, по всем
подворотням и зимним харчевням, где мне, как собаке последней, и косточки-то не подадут,
а разве обгрызенный хлеб, что со столов изгаженных смахнули?.. А что же это так бьется
во мне, не дает покоя, и опаляет...

Тропарь Ксении о похоронах матери ея

...а что же это так бьется во мне, не дает покоя, и опаляет изнутри, выжигая все внут-
ренности?!

Какая такая тоска?!

А ну, справлюсь с ней. Я, сильная. Я, двужилная. Нет, не сдюжишь! Куда тебе. Тогда
разрежу тоску надвое и загляну, что там у нее внутри. Вся моя жизнь – это клубок, и мотаю
на него цветную волглую шерсть, разномастные нитки – какие на помойке найду, какие мне
в богатых домах из позолоченных подушек выдернут да на цацки, на ляльки кинут: усладжайся,
играйся.

Жизнь, жизнь! Поворот лодочного весла, оборот веретена, шерсть прядется, а я – кудель:
щипли меня, вей из меня прочную шерстину, надежную, Божья Мать. Только вот тоска меня
заедает по детям: словно бы я воистину была всеобщая мать, все головки, русые и черные,
к необъятному животу прижимала, а вместо того – вот оно, суровое сиротство. Монашество
угрюмое в миру. Словно бы я – снег: все падаю, падаю, мету, заметаю все и вся, а никак не могу
все обнять, все укрыть, всех до дна, до макушек лаской своей белой обхватить и утешить.
Я должна была бы рожать бесконечно, как море – рыб, как земля – плоды; рожать радостно
и богато, кудахча, как клушка, над птенцами, – а вон, мои птенцы, вдоль по улице спуют, прочь

бегут, оголтелые, чужие, – не мною рожденные. И я для них – пугало, страшилка, уличная побирушка Ксения – без возраста, без роду-племени, без жилья и без хозяина, – да с правом ли на жизнь она?! – это еще надо уточнить, вывести досконально.

Дети мои! Дети! Я, дальняя мать ваша, – что я вам должна открыть?! Что заповедано мне осуществить для моих детей, прежде чем я уйду в землю? Черные гати рассядутся. Мастер, неведомый мне, изладит деревянный ящик. Добрые люди крест осиновый в землю воткнут. Все это будет, будет. Но что же я хочу распахать детям моим, кроме моей драной шубейки, под коей – теплые связанные носочки, варежки, дешевые конфетки «подушечки» да железно-дорожное твердое печенье?!

Ведь и я ребенком была: а помнишь ли ты то блаженное времечко, Ксеничка?!.. Купала тебя мать в корыте?.. – да нет, в баню водила, где пахло солеными мочалками да старыми березовыми вениками, чьи сухие листья в парилке чернели, как жуки-плавунцы. Сладости покупала?.. – да нет, разве на рынке бросит, сжалась, горстку облепихи, коей торговала, подрядившись, в особо морозные дни.

Мое сибирское детство! Моя сибирская мать! Я закрыла ей глаза на одной из наших дорог.

В дороге умерла она, как и следовало страннице, и слепой деревенский скрипач, случившийся невесть откуда, сыграл над ее могилой, покуда комьями мерзлой земли засыпали ее, детскую песню: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...» Она, умирая, только меня просила: «Доченька, если ты будешь жива в этом мире, расскажи, пожалуйста, детишкам, коли они у тебя будут, про то, что любили друг друга Исса и Будда, Будда и Исса. Ведь все на свете веры перессорились, а мы, рожденные в Сибири, доподлинно знаем, что Исса пришел в Сибирь, пошел жить в горы далеко, в тувинские, в китайские, до Тибета дошел и там встретил Будду... а Будде-то уже много сотен лет было... ну, да раньше жили долго, долго, счет летам теряли, сколько люди жили... и учился он у Будды, Исса-то, учился. Весь свет от него впивал, впитывал... над ними горные звезды висели... и Будда ломал ветку багульника, и к самому лицу Иссы подносил. А Исса был такой... ты знаешь, слушай, мне торговка шкурами Люба тогда еще рассказала... это ей ее дед рассказал, а деду – еще дед, а тому – дальний прадед Любы, шаньюй: такой был Он худой, высокий, как жердь, и рот и все лицо его обросли темной бородою, она потом посветлела, позолотела, выгорела на жестком горном Солнце, и глаза у Него были узкие и длинные, как лодки. Он ведь родился в Палестине, дочка... и вот к нам в Азию дошел... А веры грызутся, веры все перегрызлись между собою – кому достанется Истина... А, знаешь, – слушай!.. (тут она задохнулась, захрипела, выгнула спину, и руки ее стали мучительно искать руки, плечи Ксении, чтоб уцепиться за них, удержаться, чтоб не теперь, не сейчас взяла ее великая сила... – а по ноябрьской заледенелой проселочной дороге, где Елизавета, мать Ксении, умирала, лежа головою на сырых картофельных мешках, ходили, поднимая лапы, среди комков застылой грязи, зимние птицы сойки и клевали из-под земляных комьев последних, запоздалых червяков...) – тот человек, что казнил Его, самый большой начальник из тех, из воинов, царский наместник, он заглянул Ему в лицо перед казнью и спросил: „Что есть Истина?“ Тихо так спросил... И люди потонули в крови из-за этой Истины, будь она проклята, будь прокляты ее поиски, ибо она – одна!.. Одна, дочка, одна!.. Неси ее в мир!.. А детишкам про нее – расскажи!.. Они, детишки-то, все лучше нас поймут. Это потом они вырастают – и забывают себя, свое предназначение... А я... хоть и велика Федура выросла... да не забыла. Я тебя родила, Ксенька, – не человеком, а птицей... Птицей!.. Хоть отец твой и волк был...» Так бормотала матушка непонятно, но я все понимала, все запоминала.

А хоронить ее мне помогал шофер сельский, шоферюга, вырос он тут же со своим грузовичком, как гриб из-под земли, – а небо взбухало страшными серо-черными тучами, мокрый снег сек унылую землю, вдали виднелось вросшее в землю по крыши-нахлобучки бедняцкое селцо, и мы с подвыпившим шофером погрузили уже недвижимую мать в кузов грузовичка,

мотор еле завелся, уже морозец прихватывал сырую муть земли и неба, и двинули мы на деревенское кладбище, благо оно было неподалеку, вот, рядом... У шофера в кабине, под сиденьем, оказалась непочатая бутылка, и мы ее кладбищенскому сторожу всучили, и он двух могильщиков пригнал, парней, лет по пятнадцать им было... Красный суглинок был, оплывистый в холодной сырости поздней осени, переходящей в чернозем, легко и прытко копался. Гроба не было – откуда в поздний час на кладбище гроб?!.. – мы мать мою так в дерюжные мешки из-под картошки завернули, и это были ее пелены погребальные. Ее картофельная плащаница... И вот тут-то он и вывернулся откуда-то из-за одинаковых военных памятников, из-за ободренных обелисков с красными звездами, скрипач этот слепой. Вздернул скрипку к небритому подбородку. А то, что он был слеп, я поняла сразу – хоть повязки у него на глазах и не было, глядел он вбок и косо, и зрачки его плавали, как плавают два беспомощных утенка в затягивающемся льдом озерке. И шел он, как пьяный, – нога за ногу, нога за ногу. «Люди тут! – закричал. – Чую, хоронят кого-то!.. А вот вам музыку сыграю!.. Музыку сыграю!..» И завел, застропалил смычком-то конским по натянутым враскосец струнам! По моему лицу текли холодные слезы, и как раз я засыпала ее милое, завернутое в пелены мешковины тело, смиренно вытянувшееся на глубоком дне могилы, холодными липкими комьями суглинка. «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал... Он сорвал одуванчик и слепил себе диванчик, – так уж мал!..» – весело выводил слепец минорную мелодию, детскую, слезную. Мать! Я сделаю, что ты просила! Я расскажу детям о священной дружбе Иссy и принца Гаутамы! Я расскажу им о любви, прежде чем они поднимут не игрушечные, а неподдельные мечи друг на друга! Я...

Ксения залавливала детей на улицах. Шептала им в уши: «Маленький, если тебе интересно, приходи сегодня вечером на пустырь, в старую, заброшенную церковь, которую взорвали, – Крестовоздвиженскую, знаешь?.. Да нет, ничего там страшного не будет!.. И я ничего тебе плохого не сделаю. Я... только там открываю, – тш-ш-ш-ш!..» – и тут Ксения прижимала палец к устам, улыбающимся тонко и счастливо, – «открываю там ночную школу, понимаешь?.. Ночную школу Бога. Там вы все, детки, узнаете все про Бога: как Он жил, ходил везде, как любил людей и собратьев своих, как зажигалась земля от Его ног. Я расскажу тебе про то, про что не говорят ни дома, ни в школе... ни в церкви, и это в книжках тоже не написано, и друзья твои об этом не знают!.. Приходи, лапонька, деточка, – может, я скоро умру, и никто больше в целом свете – никто, слышишь?!.. – не расскажет тебе об этом обо всем... Придешь?.. Ну, пожалуйста, ну прошу тебя, придешь?..» И дите, сраженное такой великой, от чистого сердца просьбой, соглашалось, кивало головенкой. «Меня мамка не пустит поздно!» – тарачился кто-то подозрительно. «А там... будет что-нибудь сладкое?.. Угощение какое?..» – этот вопрос чаще всего девочки задавали, втайне облизываясь. Кое-кто, постарше, ронял, дергая плечиком: «Обман какой-нибудь!.. Приплетусь – а там тела мертвые лежат, и еще пять разбойников с ножами, и пистолет, и ой-ой-ой!..» Но эти-то, толкующие про обман, приходили раньше всех и ближе всех к Ксении усаживались, глядя ей в рот, ни одного ее словечка не пропуская.

Взорванная церковь, где Ксения вечерами ожидала своих детей, находилась на пустыре, на отшибе, близ череды ржавых гаражей, почти не видная за гаражными крышами, ибо от нее остался только византийский мощный, круглый остов, а купола и апсиды были напрочь снесены взрывом. Ксения волновалась беспощадно, готовясь к своему первому уроку. На задворках она нашла выброшенный радивой хозяйкой дырявый чан для замачивания белья, заклеила дыру в днище вишневого смолою – отгрызла куски смолы с замерзшей вишни, прямо со ствола!.. – и выстирала до смертельной чистоты свою рубаху, расчесала лошадиным гребешком – цыган на Тишинском рынке гребешок подарил – весь мех на шубейке, а заодно и свои длинные, золото-русые, выгорающие на Солнце волосы с там и сям разбросанной в них седистой. На поданные милостыней гроши купила Ксения карамелек, пряников, красных леденцовых петушков, галет, пирожков с повидлом и лимонных долек, а еще (сочла все монеты

в кармане, прежде чем выложить, наморщив лоб!..) большую, мягкую булку хлеба и бутылку приторно-сладкого, темного, как жильная кровь, вина кагора. «Это для причастия, – испуганно и сладко шептала она самой себе, – Господи, прости мне мой грех великий, я сама причащу их во славу Твою, несмышленных младенцев; нет на мне священнического чина, нет апостольского благословения, и имею ли я на это человеческое право?!.. – не знаю. Знаю одно: я сделаю это, сделаю». И тряслась вся, как в лихорадке.

Вечерело. Холодное небо наливалось лиловой синевой, искрило редкими, ножевыми звездами. Ксения сидела около разрушенного алтаря, на том месте, где возвышались когда-то, сияя блеском и славой, Царские Врата. Теперь торчали вокруг горелые кирпичи, со стен просвечивали черным и густо-синим остатки обгоревших фресок, славянской вязи, и еще можно было, напрягшись, прочесть: «На земле мир, в человецех...» Сидела Ксения, подперев рукою щеку, пригорюнившись. Чистая рубаха поскрипывала на ее теле. Перед нею на камнях были разложены закупленные яства, пирожки в бумажках, пряники и конфеты; хлеб и кагор стояли отдельно, на газете. Дети не шли. Дети не шли! Ксения в отчаянии куснула себе пальцы, тряхнула головой, – и тут послышался шорох, и два пацана возникли из гари и известковой пыли, утирая носы, переминаясь, подмигивая друг другу; судя по изношенной одежке, грязным носам и лапкам и отсутствию пуговиц на шубенках, пацаны происходили из бедноты и сами ничего не боялись – ни Бога, ни черта, ни сумы ни тюрьмы, а потому и пришли в расстрелянную церковь, поглазеть на чудную тетку, свистнуть ей в два пальца, стырить для игр – цветное стеклышко из разбитого церковного окошка, а если повезет совсем, то и угоститься: нюхом чуяли дворовые пацанчики – по доброму голосу Ксении, по слезам ее в глазах, – что, кроме рассказа про богов, их здесь ждет и угощение, и они тыкали один другого в бок локтями, подбадривая друг друга.

– Эй, тетка!.. Мы пришли, – мрачно заявил один, повыше, с косым шрамом на лбу. И уселся на кирпичи прямо у Ксеньиных ног.

– Да вот, пришли, – продолжил другой, пониже и тельцем пожиже, тощий зайчонок с хохолком, с разбитой губою, – щека его была вся в ссадинах свежих и сочилась еще сукровица, – пришли поглядеть, што-то тут такое будят!.. Боимси!.. А-хаха!..

Ксения вскочили, щеки ее вспыхнули, улыбка ослепила пацанов. Она ринулась их обнять – и чуть не упала через все сладости, набросанные на полу, через темную бутылку, чье горлышко отблескивало наподобье свечи.

– А ты давеча, тетка, – сказал тот, что повыше, – в брюках вроде была. В брюках и в зипуне. Ну да, в мужском платье. Мы подумали, что ты не в себе. Да вот мне Сяба говорит: пойдем да пойдем, все равно пойдем, у нее глаза добрые. Пойдем поглядим хотя бы. Ты, Сяба! – Он толкнул в спину дружка. – Прав ты, тута не опасно.

– Да конечно, не опасно, – подхватила Ксения радостно, – разумеется, не опасно!.. Тут же я, я одна с вами!.. Еще дети сейчас придут, подождем, – а они придут, я знаю это!.. Вы берите, берите, – она села на корточки и беспомощно-хлебосольно стала обводить раскинутыми руками купленные сладкие кокурки, – ешьте без стеснения, это такое сладкое причастие, я для вас купила!.. Вы ешьте, а я буду рассказывать, начнем, другие придут, будут слушать, тихо будет, – а вы берите, вот прянички, конфеточки, бараночки, у кого зубки хорошие, тот и леденцовых петухов может грызть; давайте, давайте, нажимайте!.. Как тихо, хорошо у нас. Слушайте!.. Когда мальчику Иссе исполнилось четырнадцать лет и он закончил обучение в школе в городе Назарете, это далеко на юге, в пустыне, около большого соленого синего моря, – а закончил он школу эту на отлично, со всеми пятерками, и все учителя, седебородые мудрецы, были очень довольны им и его успехами, – так вот, когда он закончил школу и предстал на прощанье перед советом самых старых учителей, они, старики, его спросили: «Ну и как же ты дальше теперь будешь жить, отрок Исса?.. Куда стопы направишь?.. Мир велик, но жизнь человека мала. Ты должен жить в своем родном городе, жениться на доброй девушке,

работать в избранном тобою ремесле, хорошо зарабатывая на жизнь себе и своей семье, – разве не так?.. И почему у тебя так блестят глаза, когда мы тебе об этом говорим?» Мальчик Исса стоял-стоял, думал-думал. Наморщился его лоб. Потом он гордо поднял голову и так ответил старикам-учителям: «Я не буду жить в родном городе, не женюсь на милой девушке, не хочу заниматься никаким ремеслом. Я вижу свет! И я пойду к нему. Пойду на Восток. Далеко. Через много гор и ветров. Прощайте». И мальчик Исса обернулся и вышел вон, а старики вздели руки в изумлении и стали так перешептываться между собой: «Какой дерзкий!.. Какой непонятный!.. Неужели он хочет бросить мать свою и отца своего, и братьев своих и сестер своих, и дом отчий, и уйти туда, где ждет его смерть, где ледники и пропасти, где дикие звери и выжженные пустыни, где на дорогах за камнями сидят убийцы?!.. Ох, неверно, ох, плохо учили мы тогда нашего мальчика, если он хочет поступить так!..» Но Исса сделал все равно так, как хотел. Он видел свет. И он пошел на свет – вперед.

Ксения говорила, полужакрыв глаза. Она не заметила, как разрушенная церковь стала заполняться детьми. Дети входили, врывались, просачивались неслышно, украдкой; дети заполняли пространство вокруг говорящей Ксении, дыша в холодные ладошки, перехихикиваясь, пиная друг дружку ногами: «Тише!.. Дай послушать!..» Дети тащили ловкими голодными пальцами у Ксении из-под ног карамельки и пряники, испуганно косились на бутылку, громко хрустели леденцами и галетами в такт рассказу. Дети запрокидывали навстречу Ксении свои чистые грязные личики, свои зверьи, Божественные мордашки, протягивали к ней голые, в царапках и цыпках, руки, слушая, по-собачьи скашивая головенки набок. И Ксеньины глаза всклень наливались слезами – за все свое скитальное детство, за всю ее странническую, бездомную жизнь, – ведь они, дети, были здесь, и это было ей Божьей благодарностью за то, что она тогда, в ноябрьских полях, нашла матери мешок вместо гроба, могильщика-шоферюгу и музыку, тонкую скрипку, над свежеею могилой.

– ...и Исса ушел на Восток. Он шел пешком много верст. Его ножки сбились в кровь. Он видел горы и долины, огромные бурные реки и соленые озера, в которых соль блестела, как снег. Его никто не тронул во все время пути, не ограбил и не убил, такой от него исходил свет, такая радость. И вот наконец дошел он до могучей земли. Там тайга зеленой шкурой, а по осени – рыже-красной, золотою, – раскидывается до края мира; там возвышаются снеговые, острые, как рубила, горы, и утром, на Солнце, они горят, как розовый мед! Там ледяное глубокое озеро прозрачно, как халдейский изумруд, и зимой по его льдинам прыгают нерпы, а по берегам, среди кедров, ходят, рыча, медведи и волки. Там налетает из снежной пустыни Гоби резкий ветер, продувая душу насквозь. И за тем озером, за горами и пустынями, есть еще горы... еще одни горы... туда-то и шел мальчик Исса, туда-то он и стремился...

Ксения задыхалась. Лоб ее покрылся испариной. Дети хрустели печеньем. Кто-то толкнул ногой бутылку, и она опрокинулась. Уже совсем темно было на улице, и звезды льдом прочерчивали грифельную доску траурного зимнего неба. Дети глядели на звезды и разбитые церковные окна и сосали петушков. Дети вынуждены были слушать непонятную, сумасшедшую тетку – тут уж ничего нельзя было поделать. Она говорила, как в кино. А сладости были еще интересней.

– ... он шел босиком, его поцарапанные ступни болели сильно, но он все-таки дошел до тех Великих Гор. И вот он увидел, как над вершинами гор встает свет. «Свет! – крикнул Исса. – Здравствуй, Свет! Я шел к тебе из самой Палестины. Прими меня! Я люблю тебя! Я твой!..» И как только он это выкрикнул – край снежной огромной горы отвалился, отломился, и из отлома навстречу Иссе вышел сияющий человек. Он был... – Ксеньино горло перехватило, она слепо глотнула воздух... – весь бритый, весь лысый, гладкий. Темный. Темная кожа его светилась. Вместо глаз у него были щелки, и из них тоже бил ослепительный свет. Тело его было все высохшее, как рыба вобла. Он подошел к Иссе и промолвил: «Я, Сиддхартха, царевич Гаутама, солнце снежных гор Шакьямуни, старец Будда, приветствую тебя, отец мой, светоносный

Исса.» Исса склонился в поклоне, поднял голову и почтительно спросил: «Великий старец Будда, как можешь ты называть меня своим отцом, тогда как я еще мальчик и пришел к тебе учиться у тебя Свету?» Гаутама усмехнулся. Волосы его, заплетенные на затылке в тоненькую косичку, те, что не коснулась бритва, отдул холодный ветер. «Я зову тебя отцом потому, что ты, Исса, отец не только мне, но и всем людям этой планеты, и другим людям на других планетах. Ты пришел, чтобы учиться Свету, но, научась Свету, ты узнаешь сам, кто ты, почему отец ты мне и всем и зачем явился ты в этот мир. И что вот это, ты тоже скоро узнаешь». И Гаутама, дети, слышите?.. – Гаутама Будда бросил вниз, на жесткий горный снег, себе под ноги, одну палочку, потом другую – на нее, и они сложились в крест. И улыбнулся Гаутама светло, и прямо поглядел на молчащего мальчика Иссу.

– И што?.. – крикнул Сяба, обсасывая сладкие липкие пальцы. – И што потом-то было?.. Все говори!..

– Потом?.. – Ксения, не открывая глаз, обернулась на голос, повела в воздухе слепыми руками, покачнулась; дети подумали, что она вот-вот упадет, дружно крикнули и вскочили с мест, пытаясь поймать ее за подол рубахи. – Что было потом?.. Много всего, милые!.. Много... Шестнадцать лет Исса пробыл в Великих Горах – с четырнадцати своих лет до тридцати. Учился Свету. Проповедовал Свет. Рождал Свет в себе. Видел прошлое и будущее. Всех больных, приходящих к нему со слезами, с бедой, излечивал своим прикосновением или дыханием: дохнет на человека, и вмиг выздоровеет он. А если человек мерз в зиме, замерзал, – подойдет Исса, дунет на него, и ему теплее, чем в самой теплой шубе! Видел Исса синие озера в ледяных горах... барсов... молился вместе с бритыми монахами в оранжевых одеяниях, бил в медный гонг... Босой и голый, лишь прикрыв плечи рубищем, поджав ноги, сидел на колючем снегу, глядя на звезды, молясь Отцу Небесному. А Гаутама, когда приходил он с мороза в монастырскую келью, растирал ему рисовой водкой руки и ноги и говорил: «Ты и Твой Небесный Отец – одно. Помни это. Знай это. Я старше Тебя по земному рождению, а Ты старше меня по небесному». И Исса закрывал нежную улыбку Гаутамы своей ладонью. Много всего приключалось с Иссой на дорогах Тибета, около Лхасы и Ладака, в долинах Джамны, на алтайской Белухе, на бурятской Мунку-Сардык. И всегда, сделав круг странствий, он возвращался в страну Великих Гор, туда, где из расколотой горы вышел к нему Будда. И однажды вместе с Буддой пошли они вглубь Великих Гор, и остановились... ну, как бы вам сказать?.. у подножья белого гладкого камня, большой такой скалы, выпуклой, как лысая голова. И увидели они оба видение. Увидели: гора, лысая, как этот снежный камень, и на ней три креста, и на них люди корчатся. Исса как восплачет!.. А Будда рукой указывает и шепчет, и дрожит: «Вот, гляди. Гляди. Это то, что Тебе предстоит. Но помни также и то, что Ты – Предстоящий». И обнял Будда и крепко поцеловал любимого своего Иссу, а затем снял с шеи своей ладанку из кожи тибетского яка с зашитыми туда гальками желто-зеленого, как глаза барса, нефрита, и надел эту ладанку на шею Иссы, и сказал: «Вот тебе, Исса, навечная память обо мне. Когда на кресте, наверху сей горы, будешь, – и покажал на тающее на морозе видение, – ладанка моя на тебе будет. Сожмешь веки, слеза выкатится. Отца призовешь. А ладанка моя тебе в сердце застучит, поможет умирать. Воин тебе сунет пику под ребро. Потом конец пики найдет, глумясь, ладанку мою... пронзит и ее. И нефрит посыплется наземь, на голую сожженную солнцем и воплями землю. И воины, солдаты, калеки, бабы, ребяшня, старики будут подбирать мои камни, целовать их и за пазуху прятать, в кошель, под мышки, в колчаны, между стрел. И им будут сниться с этих пор снежные, холодные, метельные сны... они будут мерзнуть во сне... видеть ледяные звезды над горами, видеть изумрудное озеро с торосами льда, нерп, омулей, белого зверя в прыжке. Живи, Исса! Люби людей! Все равно все придут к вечному покою». Так Будда сказал... Что же вы, дети?.. – Голос Ксении сорвался. – Что же вы... плачете?.. Почему вы не угощаетесь больше?.. Ах, нет уже ничего, все съели?.. Да, и правда... Эх я, дура, а причастие-то... забыла!..

Она присела перед упавшею бутылкой, зубами вытянула пробку. Руками, разрывая хлеб, как шкуру, наломала его на мелкие кусочки. Плеснула кагора в свою ладонь, согнутую черпачком.

– Подходите!.. – шепнула неистово, и белки ее глаз высверкнули байкальским льдом. – Это не страшно!.. Это Его тело, нашего Иисуса, и Его святая кровь. Он сам заповедовал нам вкушать их... Да не бойтесь вы, не опьянеете!.. От причастия – не пьянеют... От причастия становятся счастливыми. Я даю вам Его тело... и Его кровушку... чтобы вы всегда, всегда были счастливыми, даже в горе, даже в болезни и в... – Ксеньина речь оборвалась, две слезные дороги шли по исполосованной людскою болью, темной земле ее лица, – и в смерти тоже, хотя нехорошо детишкам, таким маленьким и чудненьким, напоминать о том, что и они, все они когда-то умрут, но ведь это будет все же, будет, и поэтому так важно, так... нужно!.. быть счастливым и светлым перед... наступающей тьмой...

Голос ее пресекаясь, захрипел. Вино капало с ее вогнутой ладони, сочилось меж пальцев и падало на каменные плиты тяжелыми каплями. Первым подошел Сяба и наклонился над Ксеньиной рукой, как бычок. Он втянул в себя кагор, Ксения впихнула ему в рот отщипнутый хлеб, он пожевал, проглотил и пронзительно крикнул на всю казненную церковь:

– Эх! И правда я счастливый какой стал!

Счастливо засмеялась Ксения, размазывая винной, кровавой рукой по лицу слезы. Еще и еще наливала она в руку, дети подходили, отпивали, слизывали темную кровавую сладость, еще и еще она совала им в галчиные голодные рты куски свежего, мягкого, пушистого хлеба, и так сильно она любила их, что самый маленький из всех, тот, кто ярче всех почувал ее слезное, вселенское материнство, вскричал из угла:

– Будь нашей мамой! Мы будем к тебе приходить! И любить тебя будем! Не плачь!..

– Буду, буду вашей мамой, – шептала осчастливленная, сияющая Ксения, перемазанная вином и детскими поцелуями и сладкими, липучими, цепучими ручонками, – всегда, всегда буду любить и жалеть вас... Придете завтра?.. Придете завтра?..

А назавтра, когда Ксения мирно спала на Юхановом сундучке в мастерской, пришли незваные люди с мрачными, почернелыми от скуки и тоски лицами, с шуршащими бумагами в жестяных негнущихся руках, леденисто цедили: «Вы не член союза... вы не прописаны... вы не расписаны... вы не жена... вы не имеете права... освободите помещение...» – пинками и тычками согнали ее, сонную, с сундучка, кинули под ноги Юханову одежонку, ее шершавую шубейку, – не стали дожидаться, пока она продерет глаза и оденется, поклали все пожитки в мешок, – а, да это был опять мешок из-под картошки... Юхан так запасливо, как сурок в норку, притаскивал картошку в мастерскую с рынка каждую Божию зиму... – и, ухватив за шиворот, вместе с мешком выбросили на улицу, на горящий алмазами под Солнцем снег, и вослед за ней в снег, в распахнутую дверь мастерской, полетели этюды и картины ее мертвого мужа – одна за другой, яркие, горячие, и у нее, обалдело сидящей в снегу, было такое чувство, что это мертвый Юхан цветными, горячими, живыми губами целовал – так, как когда-то ее живое тело, – весь белый, пустой, ледяной, призрачный мир.

Кондак парня из деревни Ильино во славу Ксении

«... ты только мамка, не плачь слишком, я вот отучусь здесь, в столице, и домой в Ильино приеду. Женюсь, корову купим, козу. Будут внуки у тебя. Ты уж там держись. Жись наша такая сложная, тем более тут, то стреляют, то прыгают с цветными шарами. Черт их разберет. Я сам не знаю, вдруг я потерялся здесь душой. Людей так в изобилии богатых, бабы прут по улицам в мехах, в синих норках, горностаях каких-то. Жемчуга свисают с шей до пят, – в витринах снеди разномастной навалом, и близок локоток-то, да не укусишь. Сумасшествие. Только поглядеть, как в телевизоре. Думаешь: те колбасы да окорока короли, што ли, едят?! – а под-

ходят бабочки, этакие даже и простые с виду, кошели размыкают, а там, мамка, деньги-то – ужась! И берут. И продавцы на них волками глядят: знают их: мужья-то награбили, землю нашу уворовали всю до корешка, а его их женушки костыляют, фигуруют. Жрут за обе щеки. Одна ненависть кругом, мамка. К тебе хочу. Да, забыл совсем рассказать тебе. Дело такое. Тут у нас одна девка недавно ребенка мертвого воскресила. У нас тут у всех в общежитии крыши поехали, как все здорово было. Девчонку одну тут в арке изнасиловали, в гололед. И время не позднее было – десять вечера, не помню. Ну, после этого и ножом напыряли везде. Из нее крови уйма вытекла, и она так и скапустилась. Ее утром только нашли. А техничка наша, тетя Вера, слышала крики, да побоялась кого-нибудь позвать, – дура! И вот, пока пацаны скорую вызывали, а скорая все не едет, медведь ее задери, тут и подвернулась эта чудная девка. Идет по улице в ночной рубашке, а из-под рубашки штаны мужские. Мы стали на нее улюлюкать. Думали, у нее не все дома. Она подошла, как мертвую девчонку увидела, так глаза у нее и загорелись бешеным светом. «Давайте, – говорит, – я попробую». Серега Гаврюхин ее локтем оттолкнул. «Ну чо, чо попробуешь?! – на нее как заорал. – Не видишь, жмурик она! И доктора не помогут! А тебя самое надо бы к докторам!» – и все такое нес, орал. Девчонка эта исковерканная холодная уже давно. А девка эта придурочная стоит, не уходит, и волосы у ней по спине так красиво выются. И вдруг руки раскинула, пальцы растопырила и на нас: «Уйдите», – сказала, как обожгла. Будто огонь из нее на нас полыхнул. Потом встала перед мертвенькой на колени и так нежно в лицо ей стала смотреть! Как дочке родной... Смотрела, смотрела. Мы тихо стояли. Яшка Лушин шепчет мне: «Я музыку слышу. Внутри себя». И весь белый. Серега Гаврюхин носом шмыгает, весь слезами улился. И вот дура-то эта руки свои протянула, каждую ранку на девочке пальцами закрыла, кожу стянула, ладони положила на голубой лоб и властно говорит: «Встань и иди. Ты живая!» И еще раз – крикнула, аж вороны взлетели с крыши: «Живая!» И девчонка зашевелилась! И открыла глаза! И встала! А тут гудок истошный, скорая гудит, прибыла, – не скорая, а кляча! Девчонка дрожит и трясется, врачи выбегают, Серега наш кричит: «Да она одну минуту назад не дышала, она здесь с вечера лежит убитая!..» – все оглядываются, девку эту, в ночной рубахе, ищут, а ее и след простыл.

Мамка, ты мне верь, я сам видел, она совсем мертвая была, даже синяя вся. Ледяная. А эта дура, может быть, из цирка, а то еще Серега сказал, что она электросенс.

Мамка, слышь, ты там не реви попусту. Сказал – вернись, значит, вернись. И на черта сдалась мне эта учеба, зачем ты только в комиссию яйца Пеструшкины возила. Лучше бы дед съел. Ему полезней. Не ругайся на меня, что редко пишу. Я тут наладил в баню ходить, в Волковскую. Там парилка с бассейном в виде зеленой лужи. Выскочишь из пару красный, в холод – бух! Это – жись!

А на лицо та девка, электросенс, мне понравилась. Я бы на ней женился, если бы не дура она. Обнимаю тебя, тетю Шуру, тетю Инну, деда Павла, деда Сергея, братьев и сестриц и низко кланяюсь всем.

А велосипед мой никому не отдавай, потому приеду и.....»

По серому небу неслись кудлатые, огромные серые тучи. Задевали верхушки деревьев, зависали над крышами. Тяжко, чугунно давило душу небо, в сером вареве бесследно, как жемчуг в уксусе, растворялась людская радость. Пока человек жив, он надеется. Серое небо отнимало у него надежду, – под таким небом казнили, расстреливали, плакали на могилах. Ксения, босая, переминалась с ноги на ногу перед бычье-мощными, тесовыми воротами монастыря. Вороны грозно, грубо каркали в кружеве голых березовых ветвей. Ксения долго шла сюда, к Желтоводскому монастырю. Мерзла в дороге – от столицы на Восток, к Волге. Побиралась. По деревьям ей давали хлебца, молочка. Поили чаем. Кто-то сердобольный всовывал денежку. Деньги она по пути отдавала нищим – тем, кто был голодней, нищее ее.

Она чувствовала себя зимующей воробьишкой, сгустком колючего перекасти-поля. Зачем она пошла сюда, в Желтоводье? Только ли потому, что захотела в монастыре, среди монахинь, умолить Бога за душу Юхана? Юхан был католик, но это для Ксении было все одно: человек весь и всяк был от Бога, а в том, как называли Бога разные народы, она не разбиралась. Она шла по селам, по заметенным снегами нищим полям, вдоль железнодорожных путей, ночевала на разъездах, в пустых, застывших вагонах, усыпанных изнутри нетающей порошей, загаженных, исцарапанных ножевыми непристойностями. На ней была Юханова теплая фуфайка и Юханова шапка-ушанка, в которой он ходил на этюды, Юхановы старые утепленные штаны, перемазанные масляной краской; ночную рубаху она заправила под штаны и имела вполне мужской, бродячий вид, и издали, когда она брела темной подбитой вороной по камчатным скатертям бесприютных полей, ее можно было принять за старика-сезонника, больного бича, напрочь промотавшего заработки в низкопробных кабаках и бредущего по миру, не зная, где преклонить голову. У Ксении впереди маячила цель – Желтоводье, и она ее достигла. А теперь, когда она стояла и жалась с ноги на ногу перед воротами монастыря, ей стало страшно. Ворота были огромные и неприступные. За белого камня стеной торчали коричневые, похожие на крепенькие подберезовики купола надвратного, Архангельского, собора. Все было огромное, каменное, дубовое, великое, давящее. Маленькая, маленькая стояла Ксения супротив Божьей вотчины. И, перекрестясь, маленькая Ксения подняла маленькую руку и постучала кулаком в дерево ворот – до медного кольца, выше ее головы, она не достала.

Она стояла и стучала целый час. Никто не услышал ее. Монастырь молчал за крепкими стенами, жил своей сокрытой, густой древней жизнью. Ноги Ксении стали пристывать к подталому насту. В промороженных пятках затукала воспаленная кровь. Она чуть не помянула в сердцах черта – здесь-то, в Божьем месте! И, отчаявшись стучать, крикнула истошно, и голос воткнулся в кирпичную светлую стену, будто копье:

– Э-эй! Сестрицы! Пу-сти-те! Христа ра-ди!..

Молчание. Гул серого ветра в вышине. Волга за спиной, укрытая коростой льда, блестела серо-золотым – так блестели кольчуги предков – стальным блеском; Ксения, молясь и дрожа, перешла ее по непрочному, недавно ставшему льду, чтобы попасть в монастырь, ибо переправы от Лыскова сюда не было. Вороны качались в ветвящихся березах, каркали оголтело.

Ксения приняла решение пробраться внутрь через лаз, через дырку в вековом кирпиче. Это она-то не просочится?! Она побрела вокруг монастырской ограды и нашла распахнутые крохотные воротца: наверное, сюда входили козы из Макарьева, чтобы монахини их подоили, а может, и подводы вползали, протискивалась лошадь с упряжкой. Может, помогали голодным, век посящимся насельникам! Привозили им огурцы, капусту, картошку! Рыбу, – стерлядок и язей из Белозерихи, с Разнежья! Не все же они сами сажали и ловили... бабы!.. Ксения, обрадованная сверх меры, втекла в воротца – и нос к носу оказалась со стройной, горделивой девушкой, красавицей послушницей, укутанной по горло в черный выдубленный тулуп, и распахнутые настезь серые, как печальное северное небо, глаза с изумлением уставились в лицо Ксении.

– Господи... мужик!.. – прошептала царевна-послушница и воздушно, нежно перекрестилась. – Мужчинам нельзя сюда, выйдите из монастыря немедленно, – холодно и надменно кинула она Ксении.

«Ого... будущая игуменья!» – подумала Ксения беззлобно и, играя глазами, смеясь, сдержнула ушанку. Волосы, золотинками блеснув в свете льда и снега, тяжело упали по спине, поверх фуфайки.

Послушница охнула и вспыхнула. Строгое царевнино лицо лучилось негодованием.

– Зачем к нам в мужском обличье?.. Зачем у матушки игуменьи разрешения не испросили?.. Как сюда вошли?.. Все ворота закрыты. Ох, и будет от матушки Михайлы привратнице, ох и будет, – зачастила, прижала пальцы к розовой щеке.

– Да не бойтесь вы! – Ксения в сердцах снова надела шапку на распущенные космы, перекрестилась и поклонилась. – Я православная, пешком да босиком сюда из самой столицы иду. Меня научили, как к вам добраться. Много я претерпела в пути. Я за мужа пришла молить. За упокой его души. А вы – гнать меня. Накормили бы сначала.

Послушница стыдливо опустила глаза вниз, увидела Ксеньины босые пальцы, обцарапанные щиколотки и быстро убрала под подол длинного тулупчика носок хромового зимнего сапожка.

– Ступайте в сторожку. Вот сюда! – махнула она рукой. – Там девочки малые, Вера, Надежда и Любовь, они монастырю посвящены. И еще три странницы, из Чувашии да с Севера, ночуют. Нам помогают – картошку чистят для трапезной. И вы тоже будете помогать, коли хотите жить в монастыре. Каждый монастырю должен работу отработать. Дрова будете в сторожку таскать... печку растапливать. Девочки плохо умеют, у них огонь гаснет. Как зовут рабу Божию?

– Ксенией, – с усмешкой ответила Ксения, шагая к монастырской сторожке по истоптанному лошадиными копытами, измятому сырыми низовыми ветрами серому снегу. Лишь вдоль ограды намело сугробы, и они горностаевой горжеткой укрывали кирпичное горло.

Игуменя не понравилась Ксении. Круглый живот, крест лежит на животе поперек, суровое, толстомясое деревенское лицо, угрюмый взгляд, говорящий: «Еще один рот. А ни лошадь запрячь, ни корову подоить не сумеет». Ни про лошадей, ни про коров игуменя спрашивать не стала. А спросила, умеет ли Ксения служить службу, петь ирмосы, кондаки и стихиры.

Как не уметь, – отвечала Ксения, ни разу в жизни не стоявшая на клиросе, но зажженная, как пук хвороста, невинным вопросом церковной госпожи, – еще бы не уметь. Книги только дайте!

Сапоги надень, – сморщила толстый нос игуменя. – Сестры, сапоги ей принесите! Те, что в сторожке Вася-печник оставил. Что тарачитесь?! Ну да, печник, Васька... Чудной...

Ее послали – в качестве испытания – на Всенощную, развернули перед нею книги, где карандашами – красным и химическим – были отмечены, отчеркнуты места, что надлежало читать и петь; Ксения беспомощно оглянулась – не было рядом с ней ни хора, ни дьякона, ни захудалой послушницы, никого. Мать игуменя села на скамье, сложила рабочие руки на толстом, гневно вздымающемся животе. И Ксения ринулась в службу, как в ледяную Волгу, в прорубь: дыхание у нее захватило, и вспомнила она сквозь туман годов-веков, ею прожитых, выпитых ею, как водка в застолье – залпом, в горьком дурмане, – далекий поселок при рыбсовхозе у северного моря, и барак, и мать, и старика Федю – Царского кучера, и Царскую Библию, от него в болезни ею полученную, – и развернулась та Библия на горящей огнями и углями и крупными звездами странице, и, покуда Ксеньины губы послушно читали и пели церковные закорючливые тексты Всенощной, с той дальней снеговой страницы дуло и веяло в лицо снегами, солеными морскими ветрами, запахом свежей рыбы от материнской одежды, запахом малины, что на ночь, чтобы горло прекратило болеть, давали ей ласковые, исколотые рыбьими иглами родные руки:

«Так уж вышло под вечер, когда тьма опустилась на землю и зажглись первые великие светила, и цветной играющий Сириус, и желтокрылый Юпитер, и красный Марс, и черепахи и львы тяжело вздохнули в пустынях, готовясь ко сну, – царь Давид, встав с ложа своего, пошел вдохнуть ночной воздух на крышу царского дома, и стал он прогуливаться по крыше, и внезапно глаза его ослепились: с крыши он увидел моющуюся женщину, она сидела близ круглого бассейна, и вода светилась в бассейне зеленым, розовым и золотым светом от звезд небесных; арапчонок, раб, сидел около ног ее и ладил, увязывал мочалки для нее, чтоб она помыла ими свое смуглое, цвета ореха, тело, ноги, живот и грудь; волосы ее были распущены по спине, глаза горели, как два зеленых кругло обточенных египетских изумруда, и женщина эта вся была очень красива видом.

И зажегся Давид, и тут же послал рабов своих разведать об этой женщине, и рабы сказали ему: это точно Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии, Хеттеянина. И послал тогда Давид нарочных взять ее, а она в то самое время погрузила прекрасное тело свое в струи холодного бассейна, и волосы ее всплыли поверх слоистой воды, а глаза закрылись от наслажденья, и...»

– ... святой архистратиге Михаиле и все его воинство, херувимы и серафимы, молитесь Бога о нас, – пела Ксения пересохшими губами, не сознавая, что она делает, где стоит, куда глядит: кожа ее горела от ледяной, особенно приятной в пустынную жару темной воды, и она все глубже, все бесповоротней погружалась в водоем, все дальше заплывала, окунала в любовную воду лицо свое, губы, живот, ладони, тонула, ныряя, и зеленая, черно-радужная вода смыкалась огромным веком над ее макушкой, и снова выныривала она, задыхаясь, изумляясь, наслаждаясь лаской воды, видя близко перед собой круглые синие белки растарашенных влюбленных глаз раба-арапчонка, – Господи, как же он был влюблен в нее, мальчик, как намертво молчал он, не произнося ни слова, – рот на замок, лишь глаза едят поедом, лишь глаза поют ослепительный вопль!

Она перевернулась на спину, и небу, утыканному первыми звездами, показался ее живот, бело-смуглый, мощный, как сосуд для зерна или вина, рядом с тонкой струистой талией. Вода текла по животу, он просматривался сквозь толщу воды гигантской раковинной. Руки и ноги внезапно ослабли, и арапчонок, охнув, ринулся к краю бассейна, подхватил госпожу под мышки и вытащил ее, сморенную, надрывая мальчишьи жилы, на мраморные плиты. Она разлепила веки, медленно улыбнулась, ее стал бить озноб. Негритенок зашарил руками вокруг себя, вынул из плетеной корзины флакон с растираниями, налил госпоже на грудь, на лоб, стал втирать, нежно дуя ей в лицо, и волны горячей крови потекли по внутренним рекам тела, и били и били в сердце, захлестывая его.

– Вирсавия, – шепнул арапчонок, – Вирсавия, госпожа моя!.. Плохо тебе?.. Я вдую вина в рот твой из губ моих...

И, как только раб слепую рукой взял лежавшую подле флягу и, отвинтив зубами крышку, хлебнул большой глоток сладкого черного вина и поднес лицо свое к лицу Вирсавии, – пахло нестройным гулом, приближающимся, грозным. Застучали копыта и доспехи о выщербленный мрамор Уриево двора, и около бассейна, давя пятками хлеба и виноград для ужина, разложенный на выбеленных холстах, столпились во множестве воины, слуги царя, и жадно воззрились на голую, распластанную на каменных плитах смуглую женщину, – а волосы женщины, грубые, мокрые, перевитые черные веревки, лежали вдоль ее тела, как длинные глубоководные рыбы, как удавки, коими душат боевых коней врага.

– Это Вирсавия?! – закричал один из воинов, ударяя себя по облаченному в доспех колену. – Хотел бы я такую жену!

– Взять ее! – крикнул, указывая на нее плетью, укутанный в желтый шелк бородастый человек – верно, главным он здесь был.

Воины бросились к ней. Она резко села, неловко подогнула под себя ноги, рванула к себе, чтобы прикрыть живот и грудь, кусок хрустящей холстины. Зеленые глаза волчонка, отравленного лисененка обшаривали мужские груди, головы, бороды.

– Не троньте! – выкрикнула. – Я жена Урии, полководца, Хеттеянина! Я боюсь вас!

Слышно было тяжелое дыхание мужчин. Негритенок облизнул губы и шепнул сам себе: «Прощай, изумрудная звезда моя, Сотис». Много тел приблизилось к ней; много рук схватили ее. Связали руки, ноги. Завязали теплым платком голову, рот. Закатали всю в дубленый черныи монастырский тулуп. Подняли, понесли. Вынесли на снег, в звонкое серебро сугробов, рубящих острыми топорами синь.

– ...куда вы тащите меня?!.. Куда?!..

Еще долго несли, крепче затянули платок на глазах, чтоб не видела ничего. Пахнуло теплым, молочным, коровьим. Свод деревенской избы замаячил, поплыл туманно. Подошел человек – всем женским покорным нутром почувствовала она, что это Царь:

– ...вы ей руки веревками поранили. Развяжите ее. Вам лишь бы красоту погубить. Звери. Не так надо было ее привести. Не так, как рабу. Как кошку связанную, дикую. А как царицу. Она же – царица моя. Ты! – За грудки ближнего схватил. Красной яростью напрягся, вскипел. – Ты же раб, тебе что золото, что медяк – все едино. А она – красота мира. Я за царапину на ней тебя повешу. Что ты там жамкаешь?.. Я – женат?!.. Плевать. Разженюсь. На ухо туг, – не услышал: что?!.. Она – чужая жена?..

Сквозь рядно платка, как сквозь решетку, Ксения мутно видела бороду, сверкающие глаза с выпученными в бешенстве белками, медный блеск гнutoго налобного обруча. Грубо, царапнув ногтем, сорвали платок. Гроздь тусклых лампочек на витых шнурах висела под потолком. Свет от них крошечным луком ел лицо. Ксения зажмурилась, указала пальцем на бородатого и смело сказала, навзничь лежащая, крепко связанная, спиной ошущая доски, а под ними – землю:

– Ты хочешь меня взять? Я не дам тебе. Я отгрызу тебе язык, выгрызу щеки! Я не таких царей видала!

Бородатый человек повел глазами вбок, как бы ища что-то, заслонился от Ксеньино лица ладонью. В дверь вбежали три девочки, мал мала меньше. Они ринулись к печке и выкачали из нее два пасхальных яйца, источавших дурной запах. Яйца нарoшно позабылись с прошлогодней пасхи в монастырской сторожке – к счастью или из боязни перед гневом Божиим, но их не трогали. Девчонки визгливо, как от щекотки, засмеялись и босыми, в красных цыпках, ногами покатали яйца к порогу, в снег.

– Где я! – крикнула Ксения. – Почему я связана! Почему ты мучишь меня!

В распахнутую дверь избы ударил снежный желтый свет. Девочки разбили пятками скорлупу, и две вороны с угольными крыльями упали со стрехи и стали склевывать Божью благодать.

– В монастырской сторожке, – медленно изронил длиннобородый и вдруг сторбился, скрючился, задрожал, закрыл глаза своей рукой, сделался маленьким и горестным, как осенний лист. – Только я обманул тебя, святая женщина. Я ведь не царь. Не царь. Не царь! – Он дрожал и плакал. – А вот он, твой властелин. Вот! Вот! – Указывал вглубь избы, и рука ходила ходуном. – Вот! Но он не хочет тебя. Он живет жизнью Духа. А зато я тебя хочу. Я! Я умею ценить красоту. Любить ее! Холить! Лелеять! Я тебя осыплю дарами, лалами... яхонтами... А этот... этот!.. Сморчок... Не гляди на него!.. Не гляди!.. Сейчас... сейчас я развяжу тебе ноги...

Застылыми глазами глядела Ксения в избяную темноту, различая никелированные спинки сиротских больших, как гробы, кроватей, плохо покрашенные тумбы; штаны и рясы и подряски, висающие на криво вбитых вешалках; беленый холмистый бок русской печи и черную трубу голландки – в разверстную печную пасть девочки, нагладевшись на ворону, кидали в скворчащий огонь березовые поленца и щепу; и там, далеко, на койке у окна, где на голый грязный матрац была накинута, в виде простыни, непотребная кацавейка, – ее вмерзшие в полумглу зрачки нашарили... ошупали...

Тошенький послушник в подряскике встал с кровати и закачался, как от сильного ветра. Личико его, с кулачок, было как ржавое. Скулы выпирали. Улыбнулся тонкими, как червячки, губами – зияла дыра на месте глазного зуба. Поднял в недоумении кочерги-плечи, под черным кошачьим подряскиком поежился зябло. Зевнул, прикрыв костистой ладонью рот – и вдруг хулигански подмигнул Ксении из тьмы. Лампочки раскачивались на сквозняке. Пахло черствыми просфорами, нательной потной одеждой. Лопались с треском поленья. Хихикали девчонки, посвященные монастырю – Вера, Надежда и Любовь. Золотой топор Солнца рубил животастую дверь.

Мужик с медным ободом вокруг кудлатой башки поник головой в подставленный черпак огромных рук и затрясся от слез.

– Что же ты стоишь! – шептал. – Подойди!.. Я же тебя развязал!.. Я всех, кто тебя поцарапает... или обожжет!.. всех разобью и уничтожу... И его! – если посмеет...

Ксения медленно подошла к монашку. Он прынул назад, перекрестился, брезгливо, будто на жабу наступил, фыркнул. Она шагнула ближе. Монашек снова попятился, зацепился каблуком за ножку койки и чуть не упал. Выругался. Бормотнул: «Господи, прости». На тыле одной из ладоней мальчишки Ксения различила чернильную наколку: «СЛОН». «Смерть легавым от... ножа?..» – мучаясь, смутно разгадала она тюремный шифр. Монашек поймал ее пристальный взгляд, нехорошо усмехнулся, прикрыл наколку рукой, как будто изловил бабочку или муху.

«Ничего себе владыка», – весело подумала Ксения. Бородач бормотал о соблазнении, об искуплении, о трех отроках в печи Вавилонской. В висках стучала кровь. Молодой монах неотступно, уничтожающе глядел на нее. Она окинула себя взглядом и испугалась: она была вся голая. Она не знала, что она голая. Как это получилось? На руках и щиколотках вздувались рубцы от стягивавших члены веревок и ремней. Черный тулуп зверем шевельнулся под ногой. Малышка Любовь подбежала, развернула шубу, уселась в нее, завернулась в мех и закричала: «Ковчег! Ковчег! Плыву по морям, по волнам! Я Ной! Я сейчас вам голубя выпущу!»

Ксения вспомнила, как ее хватили и связывали. Вспомнила бассейн, благовония в тонкогорлых золотых кувшинах. И вот этого доходягу ей надо обнять? Поцеловать?!

Ей – это?!

– Смирйай гордыню, ибо есть уничижение паче гордости, аще кто гордынею одержим, тот подобен Агасферу, Жиду Вечному, – забормотал бородачатый наместник, и обруч медным змием блестел у него на мокром лбу.

В старушечьем, лампадном и печном смраде сторожки, голая и веселая, подошла Ксения к юному уродцу совсем близко, и все ее тело, рванувшись молнией, прилипло, к костистому долгому телу. Парень дернул головой. Оттолкнул от себя Ксению обеими руками. Ловя ртом воздух, ринулся к двери, выбежал на снег, застыл оглоблей, неуклюжей слегой, около ярко-синего сугроба. Охватил щеки ладонями.

– Иди! – толкнул Ксению в спину наместник. Лицо бородача все было залито слезами, и слезы самоцветами мерцали в седых усах, в курчавой бороде.

Она побежала меж больничными койками, трогая пальцами никелированные шарики, зацепляя коленями поганые матрацы. Холодный ветер вперемешку с Солнцем из синего ушата неба окатил голую грудь. Монашек стоял, сгорбившись, упрятав голову в ладони, и ветер нещадно трепал его подрясник и русые лохмы нечесаных, пахнущих сухарями и ладаном волосянок. Ксения, хрустя по снегу босыми ступнями, подошла к нему сзади.

– Ну, что ты, что ты?.. – не узнала она свой голос: осиплый, дрожащий, пропитый, прокуренный, проклятый. – Я не сделаю тебе зла. Я не блудница Вавилонская. Я просто странница. Я хожу по земле, хлеба прошу. Меня зовут Вирсавия. Урия, полководец, нашел меня ночующей в снегу и подобрал. Женой сделал. А потом его убили. Убили. Не помню, кто. Царь какой-то... важный, в короне, со змеей на груди. Я оплакала его. Я его похоронила. Я доски гроба резала ножами. Себе разодрала живот ногтями, бусы разорвала, серьги мышам бросала. И была тьма. И во тьме я весело плескалась в круглом бассейне. Вода была светлая, светлая. И пришли, и связали, поволокли. Больно делали. Пожалей меня. Ты несчастен. Ты просто дохлая мышка, и тебе холодно в снегах. И ты устал тянуть канон, бить лбом об пол. Да чьи грехи ты замолить?! Не отмолишь тебе ничего. Потому что ты крал и убивал. Потому что ты не любил. Ты пришел в монастырь, чтобы Бог тебя от Геенны спас. А ты спаси Его. Спаси Бога своего. Ведь Бог... есть любовь. Я пришла, чтобы спасти тебя. Полюбить тебя. Чтобы ты полюбил меня.

И через это спасся. Видишь, как все в мире связано. Как повязано, крепко-накрепко. Как сращено кровью. Повернись ко мне. Что спиной стоишь?!

И, говоря все это, она касалась голым животом и бедрами тощего зада и ног монашка и, бормоча, дыша тяжело, поворачивала его к себе, паутинно ошупывала кончиками пальцев лицо – э, да у него и жиденькая борода росла, и подобие усов пробивалось, и щербина светила между заячьих зубов, и две бородавки топырились под левым глазом, – дышала в лицо ему, забрасывала руки ему за шею, притискивала к голой своей груди, клала ему горячую ладонь на спину и живот его к своему животу прижимала, отталкивала, щипала его за шею, кусала ему уши белыми зубами, виляла вокруг него, липла, клеилась, танцевала, на ноги ему наступала босыми жаркими ногами – и, наконец, обхватила так, что не вырваться, нашла губами его губы, клюнула раз, другой и припала, как припадают к воде умирающие.

Они стали бороться, возиться, как два зверя – черный и белый, стонали, крутились меж сугробов в диком танце. Снег хрустел, залитый Солнцем. Бурый медведь и белая медведица упали в сугроб. Медведица раскинула лапы, бурая туша приникла к ней. Пахло шерстью, кровью, жизнью. Снег набился в шкуры, в горячие пасти, перекатывался на языке, обжигал зубы. Солнце в небесах сложилось в шестилучевую звезду царя Соломона.

Монахини вышли на крыльцо монастыря и, шурясь на Солнце, глядели, как вдалеке возьется и играют два страшных лесных зверя. Толстомясая игуменья поцокала языком:

– После любви-то им... мяса, костей бы вынести, да беда, нынче постный день. Поди-ка, Сергия, к матери Феодоре. Может, от вчерашнего что в трапезной осталось. Попотчуй бедняг.

А Ксения, охватив ногами тощее тело монашка, стонущего от потери и утраты, от того, как нища и велика страсть людская, шептала ему в искусанное ухо:

– У тебя чудный живот, чудные ребра. Они делают больно моим. Врезаются в меня. Я люблю тебя. Знаешь, я Вирсавия, и мы поедем ко мне во дворец. Там есть на задах дворца река, узкая и зеленая, и акведук через нее. Он высокий, каменный, я гуляю по нему, смотрю сверху на все. Сверху река узкая, не толще мизинца. Деревья как зеленая вата. Люди как муравьи, жужелицы. И мы с тобой два муравья. Ты вошел муравьиным жалом в мой живот. И мы можем так лежать часами. Муравьи могут так лежать день, два. Мы будем гулять по акведуку. Глядеть в реку. Знаешь, она бирюзовая! Есть слуга, арапчонок, он умащает меня маслами. Он касался рукой моего живота. Там, где сейчас ты. Я не выпущу тебя. Я буду держать тебя всегда. Всегда. Вот так. Пока ты не взмолишься. Пока ты не умрешь.

Она повторила, задыхаясь и выгибаясь:

– Пока ты... не умрешь.

Лежа голою спиной на снегу, под ним, она, держась одной рукой за его плечо, другой развязала ему пояс, кинула его подальше на снег, задрала подрясник, обнажила его ребрастую хулиганскую спину, изогнутый стерляжьей хордой позвоночник, восковые лопатки и утлый зад – и стала цапать в горсть снегу и кидать ему на голую, сведенную судорогой спину, и растирать, и царапать кожу ногтями, и кричать – от снега, страсти, безумия, неба, света. Он вжимал в нее светящийся на Солнце мальчишечий зад – два замухрыстых моченых яблока, – перекатывал их, поднимал и бросал в темную, смуглую, горячую бочку, где плескался кипяток, где вместе варились Ад, жизнь и Рай, и тут не до молитв было. И он вспомнил, как в колонии, когда он поранил станком руку и долго, страшно кричал, так же сдернул с него серую куртку воспитатель, кинул лицом в снег и снегом растирал ему спину – от боли, чтобы морозом и болью заглушить боль, спасти.

– А-а-а! – закричал он. – А-а-а-а! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!

Бородатый монах в медном обруче на волосах опустил на крыльце на колени. Широко перекрестился. Обернул лицо к Солнцу. Борода, мокрая от слез, блистала парчой. Морщины шли по лицу, как надписи.

– Спасибо тебе, Вирсавия. Еще одну душу спасла. Жить будет. Мы ведь тут гости, в этом-то монастыре. Мы из Благовещенского прибрели. У матушки Михаила, игумены, именины. Мы акафист хотели прочитать. Спеть хотели почетно. А тут – ты. Вовремя. Вовремя успела. Умер бы он. Он уж, пацан-то, вешаться хотел. И молись не молись – не помогало ему. Бесы его грызли. Ведь он человека убил. А сам пацан еще. Душонка у него прочернела насковзь. Уж и петлю соорудил, и гвозди присмотрел. От смертного греха душу спасла. Милая!

Мужик поднялся с колен и медленно, искрясь на Солнце стриженными в кружок волосами, поклонился двум сплетенным телам на раскаленной яростью зимы снеговой сковородке. Шел сизый дым из трубы сторожки. Архангельский собор Желтоводского монастыря тремя сплетенными свечными огарками висел на невидимой леске в озере неба.

И плел языком бородатый мужик:

– Забеременеешь, Вирсавия, вновь от царя Давида, забеременеешь, как пить дать.

Кондак послушницы Желтоводского монастыря во славу Ксении

«Милая, хорошая матушка.

Ты успокойся, не сетуй шибко, что я тут затворницей живу. Насельницы смиренные, Богу послушные, службы и в Троицком, и в Архангельском – очень красивые, мы все стараемся выучивать по нотам, но иногда и по слуху поем. Не зови меня обратно, мама, это мое светлое решение такое. Если будет уж очень тяжело, бесы будут одолевать, ночи спать не буду в черноте и в слезах, – попрошу принять схиму. Мама, знаешь, была такая святая Мария Египетская. Она сначала семнадцать лет блудила – и в Египте, и на Пафосе, и в Эфесе. Все ее как распутницу знали и в связи с этим, зная все ее чудеса, восхищались ею. Вот она так подпрыгивала, озорница, вертелась-крутилась – и случайно приплыла в Палестину на корабле, а за провоз платила морякам своим телом. Пришла в Иерусалим, чтобы плясать, петь и отдаваться там мужчинам разных сословий, так я думаю. И случайно заходит в храм, а там Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, проповедует. И так все перевернулось в ней, так изогнулся прут ее души истисканной, намученной, что сначала сидела она в храме у ног Иоанна, слушая его проповеди, а потом отправилась в пустыню Египетскую, к гиксосам, и жила там меж камней, спала и бродила в одном гиматии, ела траву, и ей, неграмотной, со звезд приходили знание и святые тексты. Знаешь, мама, я часто представляю ее: сидит, поджав под себя ноги, на берегу высохшей реки; рыжий, красный вечер пустыни; небо уже чернеет, наливается соком смерти и покоя; ветер истрепал ее платье до дыр, оно истлело; внимательно и жалобно глядит она на сухие ветви мертвых кустарников, саксаулов египетских, похожих на наши тальники. И мрачные пласты земли и камня и песка смещаются под ее полными слез, старыми глазами в круглых, совиных обводах морщин. Говорят, она молчала все время, молчала первые семнадцать лет в пустыне, чтоб отмолчать все свои похождения. А потом тридцать четыре года ела сухие листья и пела звездам песни.

Мама! Мама! Я хотела бы стать Марией Египетской. Я хотела бы молчать, не говорить ничего больше в этой жизни, заплеванной словами, грешной руганью, заваленной мусором возгласов и кличей.

Но знаешь, мама, меня переплюнула одна девчонка. Я уж подумала, не схожу ли я с ума. Но все монахини были рядом со мной, и они тоже изумлялись немало, и я ущипнула себе руку – след остался, значит, это не сон был. К нам в гости два паломника явились – бородатый и молоденький. Переночевали в сторожке, ну, ты когда у меня гостила, вспоминаешь ее – там, где печка, кровати с матрацами. А дверь-то не замкнули, по доброте к миру. И ночью к ним медведи из лесу пришли, с другой стороны Волги, по плохому, тонкому льду, перекатились, как кубари. Открыли сторожину дверь, оттуда яйцами тухлыми несет, а медведи

на этот дух ой как падки. Еще хотели чем съестным поживиться. Шатуны. Зимой обычно их собратья спят. А эти гомозились. Будоражило их. Медведь и медведица. Они вломились в сторожку и стали там свадьбу совершать. Ревут! – аж до Лыскова слышно. Гости наши повскакали с кроватей, крестятся, упали на пол, к двери поползли. Старый-то монах успел вывалиться, а медведи молоденького послушника задрали. Ой как задрали, мама! Живого места на нем не было. Монахини наши беду учуяли, бегут – кто с ухватом, кто с коромыслом, кто с ведром кипятку с кухни. Медведи видят – людской косяк прет, и прочь. Два шара коричневых, страшных. Монашки наши на простыню положили мальчика, внутрь Архангельского собора, плача, внесли: отпевать собрались! Все трясутся, лица белые. Парнишка весь в крови лежит. Голова вся пораненная. Кожа ключьями свисает. Игуменья кричит: «Не жилец!»

И тут девчонка эта вывернулась. В ночной рубахе. Из-под рубахи – штаны мужские, сапоги. На коленях перед истерзанным паломником бухнулась и руку прямо в кровь, в ломотья кожи толкает! Матушка Михаила кричит: «Куда, куда! Опомнись! Оттащите сумасшедшую!» А она так глянула через плечо – мы все оробели: глазищи сверкают, губы кривятся. «Прочь! – вопит. – Только коснетесь меня – огнем сожжетесь все! Власы задымятся! Прочь!» Как бы незримый круг, очерченный запретом, вокруг нее образовался, и мы все топтались около, не смея его преступить.

А она в этом рубище своем, в рубахе драной этой, как бы со свалки подобранной, в этих смешных сапожищах, как со стройки украденных у пьяного мужика спящего, раны от медвежьих когтей пальцами склеивала, кожные складки расправляла, ладонями кровавую рвань гладила – а у парня и брюшина была располосована вся, и ребра сломанные торчали, – соединяла она его снова всего, воедино, как был он рожден матерью, каким был и предстоял перед Богом до гибели! И мы, в ужасе, кто руки воздевал, кто пальцы кусал, кто молился – молитва одна спасает всегда, – глядели, как кожа срасталась на глазах. Раны затягивались. Вывороченные внутренности втекали внутрь бедного тела. Неотрывно глядели мы на чудо, мама. Ты не веришь. Но было все так.

И когда мальчонка тот послушник принял опять вид первоначальный, свежий, как бы уснул ненадолго в яркий снежный день после долгой молитвы и сытного обеда!.. – она оставила его, лежащего на каменных плитах собора, поднялась во весь рост, – я увидела, что вся рубашка в грязи у нее и в крови, – протянула дрожащие руки к нам и заговорила, и вот что говорила она, мама, я запомнила не все точно, но хоть в письме тебе запишу, а то навек забуду, хотя никогда, вовек не забуду ее чистую речь:

«Люди живут на Земле, но и не на Земле живут. Люди невидимыми канатиками привязаны к небу, а оно огромно и щедро, и там идет своя жизнь, а мы – отражения ее, блики на снегу. Там, в небе, и сейчас и всегда есть я, этот мертвый мальчик, эти медведи, этот монастырь; есть сейчас и всегда Вирсавия, Сеннахирим, Соломон, Суламифь; есть все мертвые и все живые. Там всегда есть все. Уничтожить совсем – нельзя; то, чему суждено уйти, уходит, но не исчезает. Воскресить легко. Я просто беру из воздуха силу, нахожу пальцами нить-пуповину, которой живой на Земле привязан к себе, живому, на небе, и тяну, тяну по этой нити вниз, качаю небесную кровь. Эта небесная кровь незримая, а иногда, для живого глаза, сине-золотая. Этот раненый послушник живет на небе. Я хочу, чтоб он продолжил жить и на Земле. Для этого я постаралась. Я нашупала его нить. И тот, небесный, дал мне кровушки для земного. Ибо время его еще не пришло. Ибо он убил человека, а его убили медведи, а я искупила их всех. Я послана. Я пришла вовремя. Я просто... случайно тут оказалась. Не пробуйте меня догнать. Не ловите меня. Не грозите мне. Не ищите меня! Возлюбленный!.. Встань!..»

Мамочка, он разлепил глаза, он вытянул руки, хохолок его луковых волосенок дрогнул, он оторвал от спину пола, он стал вставать!

Монахини хором запели: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его», – и в темном воздухе собора светло стало от вспышек рук-молний, кладущих крестные знаменья. Мальчик

потянулся за рубахой в крови. Девка пятилась. Она скользнула по полу храма, как дикий зверек. Она спряталась за икону святителя Николая, чудотворца Мирликийского.

Когда игуменья подошла и заглянула за образ, обсыпанный живыми золотыми зернами свечек, там уже никого не было.

И я подумала, мама: вот Мария Египетская. Она живет во снежной пустыне. Она воскрешает людей. А я?! А я, мама?! Я только в монастырском хоре умею петь фальшиво. И молюсь плохо, мало. И в мир хочу. Тоска. Тоска, мама. А эта девка в ночной рубашке поднялась над тоской. Она ей не страшна – ни здесь, ни на небе. А я не попаду на небо. Не попаду, мама. Мама, приезжай ко мне. Мне так тут плохо. Привези молочка парного, если довезешь. Сейчас еще холодно. Довезти в бидончике, завяжи. И книжку мою детскую привези, где про берега отчизны дальней. А то я все плачу и плачу тут, и остановиться не могу».

*«Каюсь перед Тобою горячо и сокрушенно,
Господи Боже мой,
что не всегда сердцем умела
враждующих примирить,
что лишь телом своим смертным
ненавидящих в жизнь возвращала;
и дай же мне впредь силы угасить всякую распрю
лишь великой любовью Твоею».*

Канон покаянный св. Ксении Юродивой

Глава третья. Низвержение Иезавель

*«Благослови, сердце мое,
Возлюбленного Господа моего,
что дал мне восчувствовать в жизни моей
радость и страдание;
что прошла я стопою нагой по землям иным,
что явилась в град беды своей и Славы Твоей».*

*Псалом св. Ксении Юродивой Христа ради
на Пасхальной заутрене*

*(РИСУНОК К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ: ПТИЦА СИРИН – СИМВОЛ
ГОСПОДА ИИСУСА)*

Ирмос Ксении о мертвой Луне

Иду. Иду босыми пятками по белой пыли.

Пыль плохая, опасная; пыль – трясины, болото цвета серебристого ковыля. Воздуха нет. Вместо неба – чернота. Глаза выпиты чернотой; они не видят, они карабкаются в пустоте, щупают, хватают, – все зря. Мерный мой ход, плавный. Торжественный, густо течет, как мед на морозе. Острые гвозди звезд распинаят. Втыкаются в плечи, в лоб. Кровь не капает: она сворачивается сразу – в черноту, и внутри меня черное небо, и снаружи тоже. Зазубрины камней режут ступни. Я чувствую боль. Я понимаю, что наказана. По левую руку возвышается крепостная стена. Это мертвая гора. Ближе, ближе. Край каменной чаши источен звездами. Он горит терпко и сине. Зыбко в безвоздушьи. Ноздри мои склеились. Я бы хотела два крыла за плечами, да видно, лишенке не положено. Отбывай бескрылый свой срок. Налетаешься ужо.

В мареве пыли тускло светятся круглые прозрачные камни. Меня предупредили, что это закаменевшие души. Нельзя наступить. Надавишь – а это чье-то горло, грудь чья-то. Бедные. Надо их охранить. Сколько в мире незримого. Сколько под ногами, в пыли – жизни, любви.

Мне с собой не дали ни есть, ни пить. Ни котомки за плечами, ни ломтя за пазухой. Плоти здесь не потребно ничего из хлебных, мясных людских затирух. Слышно, как шуршат звезды. Они падают, звеня. Шепот звезд. Так бывает на сильном холоду. Я слышу их музыку. Я плачу.

Черный плат небесной сферы – во все двенадцать сторон света от меня. Задираю голову. В выси – надо мной – оранжевое яйцо, две ярко-синих медузы, слепящий бок львиноголового чудовища: звезды. Так вот ты какой, мир! Живой. Хищный. Можешь пожрать. В лапах сцепить можешь. Угрызть. Хватай. Терзай. Для этого тебе и дадена.

Иду. Иду. Ровен ход, неостановим. Останови меня, попробуй. Я этот ход, как ребенка, выносила. Я им болела. Его призывала. И вот я иду. Иду там, где никто из земных не ходил. И я не мертвая. Я живая. Черное небо, раскинись. Раздвинь черные ноги. Вытолкни круглую голову огромной планеты. А я ее назову – своим именем.

Черное небо, люблю тебя! Вот, вот, вижу. Она. Над горизонтом. Синяя. Круглая. Страшная. Вся в белой пене мертвых прожилков. Украсилась черным серебром. А разве в гробу украшают?!.. Сколько соли и пепла в тебе, Луна. Хруст пыли под моей стопой. Хруст соли на зубах. Вот она восходит надо мной, – а что я знаю о ней?! Что на ней было то, се, что внутри нее лежат те, эти?!.. Они – внутри нее, она – внутри Черноты. Все внутри всего. Игла в яйце, яйцо в утке. Утка...

...я не верила никогда, что тебя подадут к столу, как утку. Что нафаршируют. Яблоками звезд. Сливками чужих лун. И взовьется изогнутый серебряный нож. Таким ножом Авраам должен был заклать сына своего для Божьей радости и довольства. А я... схвачу тот ятаган голой рукой, обрежусь в кровь да и крикну: стойте! Дураки!.. Я вас люблю!.. Вы поубивали себя... пережгли... перегрызли... а как я вам о бешеной любви кричала – не слышали?!.. Дураки!.. Люблю вас все равно!.. – да, так я и крикну, заплачу, юбки подберу.

Ведь гуляю же в заповедье. Гуляю. Значит, и нож тот застольный перехватить смогу.

На мертвой стороне мира, обратной, никто из живых еще не был. Здесь иное царство. Мои тяжелые веки закрыты. Сквозь них просвечивают раскаленные зрачки. Я вижу все. Все восемь чувств обострены. Я вижу, слышу, щупаю, вкушаю, обоняю, люблю, предчувствую, пророчу. Жила женщина однажды – пророчица Анна. У нее на шее висели коричневые сухие складки, как у старой жирафы. Мешки под глазами свисали, как сброшенная змеиная кожа. Она всегда ходила в белоснежном платке – и когда стирать успевала? Каждый день – в белоснежном, крахмальном. Земляная кожа, белый платок. У нее всю жизнь не было детей. Она молилась, молилась и забеременела. «Старуха забеременела!» – кричали на улице злые дети. Она боялась рожать. Она утирала углом белого платка черные слезы. Она пророчила и ясно, как на ладони, видела судьбу своего Внука.

Я знала: она гуляет здесь. За кратером. Ее ноги, как и мои, вязнут в белой пыли.

Я не хочу ее встречать. Белая пыль сушит горло. Как я здесь оказалась? Как пришла, так и уйду. Это обратная сторона медали, и тут выбит профиль Царя. Опускаюсь на колени в пыль близ зубчатой каменной наледи, трогаю слепыми пальцами – на каждом по глазу – каменный нос, рот, надбровье, запавшую щеку. Неужели это ты, великий Царь. Хочу тебя видеть. Обними меня вместо выжженной, высохшей, старой планеты, где передрались и перепились твои слуги. Хочу любить тебя. Я ревную к твоей девочке в хитоне из холстины, к девочке с торчащими грудями, с шеей, как башня Давидова. Я шла к тебе дольше, чем она, – почему ты спишь опять с ней, со сторожихой твоих садов, в морозной белой пыли? Этот снег тяжелый, чугунный. Сбрось его. Скинь одеяло. Хочу видеть тебя нагим. Хочу целовать твои колени и пятки.

Ты здесь. Рядом. Чую тебя. Вижу тебя!

...я увидела их – вдвоем – за тем камнем, большим валуном в виде головы бегемота. Они лежали нагие. Обнимались. Девушка была похожа на рыбку, тонкую уклейку с раздвоенным хвостом. Она билась в руках рыбака. Всверкивала грудью, животом. Так сверкает улыбка в смехе. На ее запястьях горели два витых браслета – медный и золотой. Круглые камни горели в них пожаром. Горели в свете звезд ее рыжие прекрасные волосы, как я всегда хотела такие волосы, только такие, грешно завидовать невинной красоте. Ярко, бешено горели ее глаза. Она не видела меня, но чуяла, что я рядом. Я была ее соперницей.

...она не знала, бедняга, что я была ее ладонью, ее волосом, ее потом меж лопаток, ее дыханием, что я была просто – ею; и что меня звали так же, как и ее, и что человек может жить в двух, в трех, в тысяче тел одновременно, и что в разных телах и в разных временах может также жить один и тот же человек; а уж любить-то, любить не воспрепятствовать никогда и никакой из живых душ, – а из мертвых подавно. Мертвые называются мертвыми у живых; у себя, здесь, на обратной стороне зимы, они так не называются. А как-то иначе. Да не все ли равно, как вам все хочется обозвать. Обозначить. Успокойтесь. Все уже произошло. Без вас.

...и вот они наложились друг на друга лепестками, и укрыл Царь ее копною своих волос, как накидкой. Укрыл от выстрелов, града, снега, огня. Снег свистел со всех сторон. Пули звезд летели. Под пулями, под лопатками обозначились суриком и кармином будущие раны. Доносились истошные крики. Похоже, куда-то волокли женщин. На расстрел, в костер? Детский плач был слышен. Рушились и рассыпались в прах белые крыши, и черная земля взлетала высоко, разбрызгиваясь веером. Царь же укрывал свою возлюбленную от разрывов и пуль, ибо знал, что другой такой у него не будет никогда; и знание это отобрало у него страх собствен-

ной смерти, потому что, когда любишь истинно, шепчешь: «Пусть умру, а ты, а ты живи». И она жила под ним, под его огромным телом, горячим животом, волосатыми пластинами груди, корявыми сильными икрами, под магнитной мощью полнокровного, тяжелого тела, так сращенного с душой, что и молния небесная не разрежет крепкой сварки; жила, билась, боялась, скрючивалась в комок, часто, как рыба, дышала, молилась, кричала, кусала его и целовала, пела, засыпала, мертвела, видела страшный сон, сон про смерть, – а проснувшись, опять жила. И это я, я жила под широким небом! Под стылым ветром! Под чугунным, любовным снегом хохотала! Это я целовала деревья и тучи! Это я под великим миром жила, умирать не хотела, – а в меня выстрелили, ранили, заглумились надо мной, – добились!

И вот я здесь, с моим Царем. Ведь это он взял мое девство. А я плела ему косы из его длинных, драгоценных волос – там, под выстрелами. Это там, на мосту через сумрачную, нищую реку, среди воплей, звона, костров, лязга, в толпе войны, в тени орудия, из которого люди убивали людей, на камнях, среди белой пыли, лежали мы, прижавшись друг к другу, купали лица друг друга в простых слезах. Вы ели свой хлеб со слезами?! Мы – ели. Наш царский хлеб: среди костров, среди снегов. Белая пыль укрыла нас. Сначала до середины. Потом до шеи. Потом – с головой.

...Суламифь!.. Суламифь!.. – зову я тебя, зову я себя. Но мое имя Ксения, и белая пыль летит мне в рот, забивает глотку. Я живыми стопами, в рубище углом, исходила обратную сторону Войны. И голой худой рукою я крещу всех, кто был со мной, и ту себя, маленькую, гордую любовницу, – вспомните и вы, как вы свою непорочность теряли, как бились и терзались, – все холодные полы, все горячие печи, струганные голые лавки, высокие травы, ледяные соленые волны близкого моря, – все вспомните, поплачьте, а когда сырую землю будут разрывать, через плечо со ржавых широких лопат бросая, чтоб ваше огрузлое, мешковатое старое тело внутрь земли-матери покласть, то и она, земля, вспомнит в свой черед, как вас звали, как вышептывали ваше любимое имя возлюбленный ваш, ваша возлюбленная. Вспомнит и шепнет вам в уши – всеми корнями, грязью всей, потоками – схлестами дождей, разливов, талого снега; голосами всех ушедших, всех, тихо спящих в ней.

И поднимаю руку в белой пыли, и пророчу: когда начнется Последняя Война, два нагих любовника будут лежать ночью, на снегу, посреди выстрелов и огней. Синие и красные сполохи сойдутся в небе, и грянет Последнее Сражение. И любовью своей два беззащитных тела человеческих, две души – Мужская и Женская – остановят Бой.

...«Ха-ха!.. Ха-ха-ха!..» – смеются выстрелы надо мной. Все гораздо грязнее, мучительнее и проще. И жесточе, конечно. Тех двоих убьют. Убьют в упор, разрывными.

И красные пятна проступят на груди и на спине тех, крепко сплетшихся, любовно спящих под зубчатым кратером, там, в белой пыли, на обратной стороне Любви.

Море глухо бухало в бубен камней. Ледяные брызги взмывали высоко над головой, оседали на красной захладавшей коже солеными жемчужинами. Волны залетали на длинный, далеко вдающийся в рваное покрывало воды мол, растекались по нему сизой лошадиной гривой. Из быстро мчащихся туч сеялось мелкое серое крошево дождя. Ксения так любила лежать на холодных камнях; она брала с собой из дому рогожку, расстилала ее на мокрых валунах, ложилась, ощущая холод и камень животом, спиной. Ей казалось тогда, что телом своим она ощущает весь холод людской, все страдание людское.

Она согревала людское страдание своим теплом и радовалась. Вот, вот, я же теплая, я горячая. Я согрею. Я животом, спиной, лопатками, ногами все обниму. Всю боль себе возьму. Я жадная.

Море было огромно и одиноко. Оно было ее другом. Оно видело, как взрослеет ее девчонья спина, как зреет и круглится плоская голодная грудь. Море плевало в нее соленой слюною, смеялось ей в лицо зубами брызг. Она раскидывала руки, подставляла морю шею, подбо-

родок. Не утирайтесь: лейтесь, милые слезы. Брызги сползали по голой шее, текли по груди. Ксения вздрагивала. Эта ласка смущала ее. Она все сильнее, все настойчивее – день ото дня, и в самые сильные холода – хотела ее. Море любило ее. Она расстегивала для брызг пуговицы на кофте. Она не знала, что ей делать.

На задворках, там, где они с матерью ютились в бараке, среди мусора она нашла большой мешок, крепкий, почти целый, если не считать двух прогрызенных мышами дырок; неумело раскроила его и на швейной машинке бывшего Царского кучера сшила себе чудную одежду – рубище, балахон для медитаций, для стояния на молу в морскую бурю. Сшила, надела; кучер воскликнул: «Матушка, Царица морская!..» Исцарапанная амальгама бедняцкого зеркала отразила высокую худую девушку с испуганными круглыми глазами, холодными, цвета ветра и туч.

В самосшитом балахоне она стала приходить к морю. Мальчишки из рыбацких семей свистели ей вслед, кидали гальку и сухие мидии. Крепко сжав зубы и кулаки, стояла она на мощном каменном молу, безотрывно глядя вдаль. Глаза ее белели от воды и ветра. Колени уставали и ныли. И когда она изнемогала, то небо распахивалось, и она видела резкую живую явь, как видят сон.

Горькая свистящая кровь металась вдоль ее жил, ища выхода. Древние люди выборматывали свои многоязыкие речи ее языком. Она облизывала полынные губы. Видела зарева, ярусные города, огонь, много огня. Однажды увидела, как у костра сидит старик, варит в котелке уху. До боли родной ей был этот старик. Кровь вскипела в ней. «Дед, дед!..» – закричала она, выбросила вперед руки, чтобы схватить его изморщенное лицо, смуглые щеки. Котелок опрокинулся в костер, уха с шипением залила огонь. Ксения сунула руки в уголья, обожглась, завопила от боли. Старик, отшатнувшись, молнией глянул во тьму ее лица. Навсегда запомнила она эти глаза. А очнулась – пальцы ее, ладони все в волдырях. Мать, причитая, лила ей на руки прогорклое масло. «Шляешься, шляешься, – с кем ты ведешься, завлекут тебя, засосут, не выберешься!..» Ксения тонко, нежно улыбалась.

Так денно и ночью ходила она на мол. В любую погоду стояла там она. То смеялась. То слезы текли по ее щекам, скулам. А за ее спиной торчали железные трубы, мигали разверстые окна, стучали ставни, лилась и ярилась ругань, гремели бадьи и кузова поломаных повозок, захлебывались толстые злобные собаки, а тощие собаки выли предсмертно, – гудели сирены, сзывая народ на кровавый бой щедрого труда, вдребезги бились стекла, горели ветхие крыши и кошацьи чердаки, таяли снеговики с морковью вместо носа, мальчишки раздевали девочек в сараях, где спали ржавые санки да отработавшие газовые плиты, – мир плыл и качался за ее узкой девственной спиной, и там, в облаках, в кромешных тучах, Бог Сияющий уже твердо решал, что ей пора принести положенную жертву.

Край ее балахона вымок от дождей и волн. Она наклонилась, чтобы отжать его. Грязная вода текла ей на щиколотки. Ветер нагло лез в уши, застилая победным пенем мирской шум, перебрасывал ей волосы со спины на грудь, на лицо. Когда она наклонялась, ветер облеплял мокрую холстину вокруг ее узкого сильного тела, и округлые мышцы зада и икр напрягались, как каменные. Все вокруг было камнем. Камнем и водою. Камнем, водою и ветром.

Как-то услышала она за собой шаги. Хруст мелких камешков под подошвами. Обернулась. Незнакомая тетка. Вся мокрая. Дышит тяжело. «Народ так устал, устал!.. Устал тебя высматривать!.. Чтоб тебя ветер в море не сдул!.. Дубина стоеросовая!.. И что ты тут делаешь, дура!.. И кто тебя просит здесь торчать!.. Вот вызовут санитарную машину, свяжут тебя по рукам и ногам, увезут, куда сама знаешь!.. А знаешь ты, знаешь все про себя!.. Дурочкой-то не прикидывайся!.. Ну, бродяжка, скажи, скажи!.. Кого ждешь!.. Кого ты тут выжидаешь, кляча, козявка Лизаветина!.. Все одно под забором тебя распнут, прибудина собачья, шлюхина дочка!.. Кого!.. Кого!..»

на мотоциклах. Девочку, что бежала рядом с Ксенией, держа крепко клетку с попугаем в руках, прижимая ее к животу, задавило. Клетка откатилась далеко, дверца ее распахнулась, и ярко-синий попугай, сказав печальное на своем языке, выбрался наружу. Заскакал к неподвижной хозяйке. Ксения видела еще немного, как он скакал по тельцу девочки, впиваясь в нее лапками, и кричал о смерти.

Люди полыми черными бочками выкатились на сухо и блестя сверкающую жестким снегом площадь. Она была полна диких огней. Костры горели везде – по ободу площади, на склонах мусорных холмов, близ домов с пустыми глазницами. Ближе к центру костры горели кучнее, гуще. Люди грели у костров руки, путая чужих со своими. Ни у своих, ни у чужих не было нигде ни нашито, ни приклеено опознавательных знаков. Толпа, вихрь и клопоча, обтекала танки. Обступала их. Когда пушка гусиной шеей нацеливалась на толпу, люди бросались животами на снег, в грязь, влипали головами в землю. Люди понимали – лишь сейчас, лишь теперь, – что из земли они вышли и в землю уйдут, что лишь земля – дом и прибежище, что она спасет, она и похоронит, и косточки белые глубоко в ней бессмертными пребудут.

А пули свистели, гудели повозки, поворачивали шеи танки, стреляли в кромешную ночь костры тысячами алых и желтых искр, золотыми зернами, и Ксения летела искрой вместе с другими, поджигала собой смерть. Она знала, что смерть – это один из знаков, одно из заклятий земли. А если понять, что ты уже при жизни живешь на небе, то ты перестанешь верить в смерть. Ты просто полюбишь ее, как любят мужчину. Так говорил тот человек из нищенской Шамбалы, где жила она семь долгих лет. Только она не знала тогда мужчину. И Юхана еще не знала. Она крала для нищих хлеб в харчевнях, прямо со столов, недоеденный. Тот человек из Шамбалы был длинный, худой, на одной руке у него было пять пальцев, на другой – шесть, и они были черные от грязи и любви.

И Ксения полюбила смерть, как жизнь, хотя ее еще матушка Елизавета учила этому, и благодаря этой любви все в ней пело и играло, и многие – а она сама этого не знала – удивлялись ее красоте, завидовали ее бродячей зимней наготе. На лицо она была девочка, хоть давно забыла, сколько ей лет. Она жила сразу в нескольких своих телах и в нескольких временах, и каждое время она любила нежно и напоследок, а это, где стреляли и убивали, – больше всех.

На площади, среди костров, в развороченном взрывом газоне стоял тощий лысый человек, изжелта-смуглый, с вязкой гранатовых бус на жилистой жалкой шее; в костлявых руках он быстро перебирал мелкие ягодные четки; голова его была выбрита долыса, синя, череп бугрился шишками и наростами. Он бормотал безостановочно: «Харе, Рама, харе, Рама, Рама, Рама, харе, харе». Снег белой кошкой царапал его голые щиколотки. Ксения издали увидела его. Люди слепо металась среди огней, теряя равновесие, падали в костры, на них возгоралось платье, затлевали шубы, ветхие тряпки. Ксения, пробравшись сквозь людское варево, встала рядом с кришнаитом. Дрожь улыбки прошла по смуглому лицу лысого человечка. «Все это будет семь дней и семь ночей, – сказал он Ксении хрустальным голосом и передвинул бусинку на четках. – А может, семижды семьдесят семь лет. Когда сразятся они, станут сражаться их бедные дети. Блаженны нищие, ибо их есть Царствие небесное. Харе! Харе! Аллилуйя!» Ксения засмеялась под пулями и обняла лысенького, крепко обняла за дрожащие под холстиной сутулые плечи. «Давай вместе», – просто сказала. Они вздохнули вместе и заорали: «Аллилуйя! Аллилуйя!»

У ближнего костра грел руки молодой лейтенант. Оружие, зацепленное за косую перевязь, болталось у него на животе. Исподлобья наблюдал он за лысым мальчиком и золотоволосой девочкой, обнявшимися в зимнем газоне, нагло и весело орущими. Девочка ему понравилась. «Интересно... своя или чужая?..» – подумал он тоскливо. Она похожа была на голодную зверушку, на соболенка: ей бы хлебец в зубы да снова на волю.

Он не успел додумать. «Танки!» – истошно закричал бабий голос в толпе. Люди черными букашками забегали меж костров, ища укрытия, пытались спастись. Господи, как же все

они боятся смерти. Как хотят жить – на лютom морозе, в голоде, в нищете, нагими, голыми, босыми, израненными, искровяненными, – сиротами, – калеками! – только – жить, всегда – жить, до могилы – только жить. Господи, разве они не знают, что обнять смерть – все равно, что наступить ногою в небо?!

Танки появились неожиданно. Сначала возник тяжелый, непереносимый ушами гул. Казалось, раскалывается твердь. Гул вязнул в зубах, оседал на языке, молотом колотил в затылок. Спастиcь от гула было нельзя. Затем из тьмы чудовищными китами выплыли ОНИ. Горячий воздух сотрясался вокруг них, они пахли машинным маслом и смертью. Они шли неумолимо, и важно было – не пустить их дальше. Остановить их. Ведь любить можно только смерть, приходящую сама по себе. Если нам ее дарят, навязывают насильно, – трудно познать и нацепить ее старые рыжие крылья. Тут трудно улететь. Тут бывает так: тьма – крик – пустота. Ксения часто видела эту пустоту руками, когда прикладывала руки к убитым, пытаюсь оживить их. Потом, пробегая искалеченною землей вместе с умалишенными людьми, она рассталась с мыслью о воскрешении. Скорей, скорей. Пуля вопьется в нее. В ее кожу и кровь. В шею – туда, где жила жизни. И это очень больно, страшно. И она боится этого. Ты, старый дурак из нищей Шамбалы! Ты все учил неверно. Смерть – это больно и страшно, и это навсегда.

Танки гудели, шли стеной. Наплывали. Подминали под себя белый зимний мир. Давили в кровь живые тела, и красное являлось на белом, а чьи-то зубы во тьме танков смеялись. Ксения громко крикнула одному из танков: «Стоить!» – пушка только выше поднялась, и черная дыра стала искать того, кто кричал, наставляться на нее, Ксению. Она ринулась вперед, вымахнула руки вверх, к небу. Худая тростинка в заляпанном грязью и кровью рубище. Живая. И жизнь ее толкнула еще вперед, еще ближе, к шевелящимся и ерзающим железным гусеницам, мнущим и жрущим, и жизнь подожгла ее волей: «Вперед! Отомсти ему! Перейди ему дорогу! Убей его: собой!»

Ксения захотела не дать им пройти. Ни одному.

Она вытянула руки к небу еще сильнее, еще мучительнее. И, неистово закричав, она бросилась под танк.

Красный и оранжевый снег закрутился у нее перед глазами. Лейтенант, гревший руки у костра и уже успевший всунуть их в шерстяные перчатки, прыгнул быстрее хищной кошки. Девочка, что так понравилась ему, уже лежала перед танком, под самыми гусеницами. Гул прожигал насквозь масляный, насыщенный криками черный воздух. Сажа, пепел, голодный дым костров. Тело девочки под грудой металла. Сейчас раздавят и эту жизнь. Ну уж нет! Он рвал ее из-под гусениц танка, отдирав с кровью, отлеплял от смерти. Он матерился и плевался, он вцепился ей в ребра, в плечи, тащил ее, как рыбаки тащат тяжелый от рыбы невод. Он отрезал ее – живым куском – от горелого смертного хлеба. Пусть будет она пищей живым. Пусть послужит. Ломайте по крохе. Кусайте. Вгрызайтесь. Любите. Эта жизнь – ваша. Я дарю ее – вам.

Оттащив ее от ревушего танка и бросив в снег, около костра, – так близко к огню, что волосы и брови ее опалились и затлели, – лейтенант отцепил с пояса связку гранат, сильно размахнулся и кинул их в гудящее железо. Вот тебе, Левиафан. Вот тебе. Умри, Левиафан, порождение ехиднино. А она пусть живет.

Связка взорвалась, махина обкрутилась бешеным пламенем. Танк беззвучно кричал. Там горела живая душа – живая улитка в железной ракушке. Ксения лежала на снегу неподвижно. Лейтенант, чтоб спастись от огня и взрывной волны, лег животом на снег, уткнулся лицом в Ксеньину ногу. И, пока горел огромный танк, он ощущал щекой, углом рта, как ходит теплая и любовная кровь в тонкой Ксеньиной ноге, как колются – едва, чуть слышно – волосики повыше ее щиколотки, бодают небритую лейтенантову щеку, веселятся, радуются, что живы они.

Он подполз к девочке поближе, осторожно взял ее за вылезшие из холстины плечи, перекатил, как березовое полешко, от мятущегося костра в белую тьму, чтоб их никто не видел.

«Тебя как зовут?..»

«Ксения. А тебя?..»

«Да так. Неважно, как. Просто – человек.»

Она дышала тяжело и часто, молчала долго. Он молчал тоже. На их распростертые бледные тела медленно, крутясь по ветру, оседала сажа, опадал мертвыми лепестками полночный снег. Гул удалялся. Танки уходили? Разве может уйти возмездие? Разве может уйти обида? Ксения знала: они придут опять. И она опять закричит страшно и ляжет под танк. Она их ненавидит. Это она поняла. И улыбнулась веселой злости своей.

А этот мальчик, что он тут делает?.. Надо вспомнить. Да, он ее от смерти спас. От смерти спас. А зачем?.. Затем, что не отслужен еще срок службы. Он так больно вцепился в нее. У нее ребра болят. Вот грубиян. Медведь! Мог бы и поосторожнее.

И Ксения, лежа на грязном и красном снегу, ласково улыбнулась ему, не зная, что он уже поднял лицо свое от снега, от земли с застылой комковатой грязью, и вздрогнул от созерцания ее дрожащего нищего рта, и задрожал, потому что захотел, до ломоты в неуклюжих пальцах, раскутать с нее хилые серые тряпки и поцеловать вспухшими, разбухшими губами ее ребра и живот.

«Я сумасшедший, я сумасшедший», – зашептал он, жарко дыша Ксении в рот, приблизившись к ней поелику возможно.

«Ты так хочешь меня?.. Здесь, сейчас?..»

Она чувала свое тело легким, невесомым. Спина мерзла, прикасаясь через ткань к снегу.

«Да. Я так хочу тебя. Здесь и сейчас.»

«Но... видишь, – идет война. Стреляют. Жгут костры. Здесь много снега и огня. Я хочу быть голой перед тобой, но как же мы разденемся на снегу?»

«Мы разденемся на снегу, и я буду трогать твою грудь и целовать твои сосцы. Ты не умрешь».

«Мы лежим во тьме. Костер поодаль. Не бойся ничего. Раздень меня».

«Это ты не бойся. Я-то не боюсь».

Он боялся больше нее. Он боялся за нее.

Он сорвал с нее всякие разные тряпки, добрался до теплоты спасенного им тела, стал шупать и мять, достиг до всех впадин, косточек и вмятин, гладил и нервно осязал восставшие дыбом лимонные соски; вот и ребро, вот другое, – он пересчитывал их все, золотые ребрышки, до единого, словно он играл на дудочке, словно гладил киску; а это, это горячее, мокрое, две звезды в раковине или одна, он сослепу не различает, его пальцы перестали видеть, они только горят, ну, глубже, еще глубже, еще, там будет сияние, вот уже поднимается свет, еще сильнее, пронзительнее, – вот она, чистая перловица, тайна Рая, разве возможно это убить, и неужели отсюда является в мир человек, – как прозрачно и темно, как горячо, почему он весь трясется, ведь он же ей ничего такого на сделал, его всего колотит, еще глубже, еще больнее, как лихорадка, а свет-то откуда, когда такая тьма охватывает тугим и сладким кольцом его руку, – прозрачная пелена, пленка, вот она, ей больно, что это, она кричит, она охватывает его руку горячими ногами, завеса в храме разодралась надвое, и свет розовый, золотой и синий хлынул из скиний небесных, но кровь, где кровь, где кровь и война, где кровь и смерть, – ты видишь, она хочет сиянья, так добывай же его, так расти же его в ней, глубоко внутри нее, но твоя рука уже обожжена, она не может идти вглубь, она выпита, из нее взяты силы, так помолись, помолись, парень, дурак, чтоб Бог тебе еще одну, последнюю силу послал, ведь ты уже с ней в подлунном огненном мире не будешь никогда, никогда. «Еще!... Сильней!...» – шепчет она, умирая, ее голова закинута, зубы блестят снегово, он приближает лицо к ее ждущему рту, не отнимая руки от нее, и она кусает его за губу, пытается проглотить, как рыбу, его язык.

Он будет так в ней вечно, глубоко в ней, и его рука прорастет сквозь нее, вырастет черным, печальным деревом, и на древе том будут качаться снеговые плоды. Как прекрасны ее зубы, они светлей искр костра площадного! Как блестит на голой груди крест нательный! Он обещал целовать ей живот, ребра; он будет делать это. Он уже делает это, и рот его ищет нежную кожу, ее пупок, пересчитывает ее ребра, как давеча делали это пылающие пальцы, он втягивает, вбирает, всасывает в себя весь ее страх и вдувает в нее, вбрызгивает всю нежность, всю сладкую боль, всю небесную чистоту, что – вверху, там, за смрадом. Он целует все – и волосы у нее за ушами, и зверьи ушки, и грязную шею, и высохшие ветки голодных ключиц, вот она лежит голая на снегу, и он целует всю ее – бедную, нищенку, оборванку, спасающуюся им – от смерти! Тело ее горит на снегу подбитым опалом, осколком старого зеркала с проржавевшей, потертой амальгамой. Тело ее во тьме сверкает зеленее молнии, розовее неспелой вишни. Пули свистят, костры гудят, пора уходить с нагой площади, где все на виду, сейчас танки развернутся и будут расстреливать нас в упор, но тело возлюбленной горит всегда на снегу, распятое лишь мною, мужчиной, и если нас убьют, – нас убьют вместе, вместе мы уйдем, а это значит, никто больше в целом мире не будет видеть и осязать это нагое, это мое навсегда тело, целовать соски и живот, целовать, вдыхать, мять и подминать, вознося высоко, выше куполов и звезд, эту разъятую, распятую, разверстую, всю нагую душу, ибо она моя и только моя, и ничья больше, и, прошу вас, танки, стреляйте скорее, потому что я уже ложусь на нее, потому что она уже подо мной, надо мной, потому что она уже кричит и содрогается, а я еще нет, и пусть, и хорошо, я так хотел, так и только так, и больше никогда – так, так, как теперь, так, как ни у кого, моя рука в крови, пальцы в крови мои, я жесток, я счастлив, я мужчина, а возлюбленная моя – женщина, – так почему же вы не стреляете, сволочи?!

Ксения содрогалась. Она содрогалась волнами. Огромная, сильная волна. Одна. Другая. Третья. Она не считала их. Они шли и шли. Они поднимались, рушились стеной. Они были серые и прозрачные, чистые и грязные; они были холодные, ледяные, они обдавали ее тысячью ледяных брызг, и брызги обжигали ей голое тело.

Снег летел на них, голых. Он белым лучом ударял в горячую тьму. На снег капала кровь. Ты убил меня любовью. Ты воскресил меня. Я никогда не отпущу тебя. Будь всегда во мне. Пусть нас убьют так. Вот так. Я не хочу иначе.

Последняя волна, самая сильная, неизбежная, прошла по ней, вдоль всех впадин и хребтов, по всхолмиям и излукам, и погасла во свете тьмы.

Море заливало соленой радостью мол. На скользких, увитых водорослью камнях раскинулись руки, ноги. Солнце, мигая из-за холодных туч, внимательно глядело на два нагих тела. Ксеньин балахон, сброшенный, лежал рядом с ней. Она нашарила его слепой рукой, улыбнулась: здесь. Справа. Слева горело чье-то чужое: иная плоть. Дух ли, живого ли целовала она? Медленно повернула Ксения тяжелую голову, медленными глазами обшарила чужака. Худой. Некрасивый. Деревяшками выпирают скулы. Глаза закрыты. Он спит. Под хмурым небом, голый, на морском ветру, весь в брызгах соли – спит? Притворяется?.. Ксения зрачками прочитала на скинутой шкуре его одежд: погоны, зелень защитной ткани, форменные со звездами пуговицы, поддельно-золотая бляха на ремне, – она не умела определять по погонам военный чин, но поняла, что – воин, и обрадовалась. Значит, вещие сны сбылись. Серебряную селедку разрезал надвое меченый нож.

Мужичонка разлепил глаза. Мертвая рыба его руки ожила, локоть больно ткнулся Ксении в бок.

– Эй, – тихо крикнул он. – Эй, где это мы?..

– На молу, – отвечала Ксения, вытягиваясь сладко. Кожа ее вся покрылась гусиными, морозными бугорками. Зубы начали выбивать ритм танца. Она цапнула заледневшими

руками свой мешок и пыталась одеться: совала в мешковину голову и не находила раструб дырки, вздевала руки в шершавые складки, – напрасно. Она запуталась в мешке и засмеялась.

– Эй, что смеешься?.. – Голос мужичка был обиженный. Он тоже захотел прикрыться своими военными тряпками, набросил их на худую мосластую плоть. – Я тебя знаю?.. Нет?..

– Знаешь, конечно, – усмехнулась Ксения. – Меня весь поселок знает. Я дурочка. Мать со мной замучилась. Я везде хожу, побираюсь. Нам бывает нечего есть. Я мечтаю. Я вижу многое и знаю тоже.

– И... меня знаешь?!..

– И тебя. Еще бы тебя мне не знать. Я тебя ждала.

Мужик расширил глаза. Схватил штаны, стал судорожно пялить. Он хотел убежать с мола, отсюда, от сумасшедшей, скорее.

– Ты воин, – сказала Ксения убежденно. – Помоги же мне надеть мое платье. А косичка у тебя – есть?

Она бесцеремонно закинула руку ему за шею, стала царапать и щупать затылок. Стриженный! Голый! Холодный затылок, – косички нет, но ведь была когда-то! Тысячу лет назад!

– Откуда... знаешь?.. – мрачно буркнул он, смущенно. – Была... косичка. До армии. Косичкой гордился. Потом призвали. Голого меня в больнице щупали. Стыдно было. Смеялись. Косичку велели остричь. Парикмахер машинкой по голове водил. Она жужжала, как танк. Откуда ты знаешь?..

Они неуклюже, потупясь, помогали друг другу одеться. Стояли на молу друг против друга, девочка в мокром мешке и мужичок с квадратными скулами, в погонах лейтенанта. Ксения положила руку ему на грудь. Под ее ладонью толкалось и лепетало чужое сердце.

– Мы тут с тобой были... вместе?.. – Голос лейтенантика срывался, он не мог говорить.

Глаза их скрестились, косо дернулись вниз. Голыми ступнями они стояли в крови, уже наполовину смытой морской водой, уже смешавшейся с морем, его смехом и холодом.

Лейтенант задрожал. Он все понял. Ему захотелось удрать как можно быстрее. А еще больше – захотелось снова обнять ее, поселковую дурочку с мола, потому что его губы и живот вспомнили ее и захотели окунуться в нее опять, как в море. Зачем он забрел сюда! Лучше бы пять суток гауптвахты! Это жесточе боя. Если узнают в поселке – ему тюрьма. Она беззащитна и, может, сильно больна.

Он протянул руки и коснулся ее дрожащих под холстиной плеч.

– Эй, как зовут тебя, не знаю, только не уходи! – вытолкнул из себя с натугой.

Ветер трепал их наряды – холщовый и хлопчатый. Они не двигались. Под ее ладонью билось живое сердце. Под его руками сводило холодом женские плечи. Он сделал дурочку женщиной, и сладкая гордость распирала его. Ему казалось – крылья за его спиной, за ее лопатками. Он снова хотел ощутить свою острую тоску внутри ее радости, непомерной и горячей. Он не хотел, чтобы она уходила. Пусть тюрьма и трибунал; пусть громкий смех из многих глоток и расстрел. Может, он заразился и стал дураком. Но если она уйдет – все пропало.

Он сильнее сжал ее плечи. Придвинул мокрое лицо к ее лицу.

– Слышь, – зашептал он. – У меня есть знакомый шофер. Отличный парень. Язык за зубами. Увезет нас. Я из казармы удеру. Плевать на все. Я мужик смелый. Ты не бойся. Я хочу с тобой жить. Косарь увезет нас далеко. Он нас не выдаст. Ни в жизнь, Косарь не такой подонок. У него машина казенная, грузовик, но наплевать. Он все равно обратно пригонит. Слышь, дура! – Он перевел дух. – Сказала бы, как зовут тебя! Я тебя не оставлю! Я не отпущу тебя. Хоть режь меня. Я тебя... вылечу. Ты будешь хорошая баба... нормальная. И мы с тобой заживем. Как люди. Денег у меня немного есть, там к матери моей проберемся... а?.. Да слышишь ли ты?!.. Или глухая?!

Ксения печально поглядела на него, запоминая навек. Рванулась к нему, прижалась вся, по-девчоночьи, по-детски. Так крепко обнимались они, что кости чуть не хрустнули. Потом она отпрянула и резко, грубо стряхнула его руки с плеч своих.

Помолчали немного. Лейтенант ждал ее ответа. Море глухо бухало в серый бубен вокруг них.

– Не ходи за мной, – просто сказала Ксения. – Все, что было с нами, уже было когда-то, давно. И еще будет много раз. И у тебя, и у меня. Я сама не хочу уходить, но кто-то сильный тащит меня. Не догоняй! Меня Ксенией зовут. Ты запомнишь меня?..

Огромные слезы текли по ее щекам, скулам, носу, подбородку, шее, она утирала их руками, кулаками, шмыгала в сгиб локтя, окунала в пригоршню колышущееся лицо, утишая горе, убивая силой разлуку, и уже повернулась спиной, и уже шла, прочь шла по длинному бесконечному каменному молу, заросшему водорослями, как старик – бородой, и видел лейтенант качающуюся от рыданий, в свете морских брызг, узкую спину, видел мелькающие под рогожей щиколотки и пятки, следил – через набухшие линзы проклятых мужицких слез – как шла от него прочь по молу девочка, обесчещенная им, девочка в сером мешке, смешная, желанная, – и он вспомнил, что спас ее в неведомую войну из-под танка, вытащил, ругаясь матерно, из-под смерти это любимое нежное тельце, – а она уходила опять, и он скрипел зубами, и оторвал медную пуговицу на гимнастерке, пытаюсь распахнуть ворот, ибо задыхался от горя, – а она уже шла по берегу, по наледи, по засыпанном снегом голым камням, все дальше, по снегу, босая, в виду приземистых мрачных домов поселка, и уже мальчишки бежали вслед за ней и бросали в нее маленькими камнями и острыми ракушками, и он увидел, как от ее рогожки и от ее затылка исходит свет и лучи рвутся в сторону моря; и закинул он руку себе за голову, и пощупал лысый затылок, и засмеялся больно, морщась:

– Косичка!...

А ветер толкал его в сутулую тощую спину: уходи, уходи-ка ты, парень, навсегда отсюда.

Тропарь Ксении о приходе ея в град Армагеддон

Таким образом я потеряла девственность, и теперь мне было ничто не страшно. С Востока, от холодного моря, я тогда снова пошла на заход Солнца, в смертельные для взгляда человека западные города. Я ночевала где придется, а то и не ночевала совсем – бессонно шла по дорогам, вглядываясь вдаль, во тьму. Боялась ли я чего, кого? Ясно, боялась. Когда страх хватал особенно сильно, я лезла за пазуху – у меня там всегда был хлеб от добрых людей, собачке, мне, брошенный – и грызла, всасывая внутрь хлебный сок. Хлеб давал мне силу. Он смывал накипь страха. Так, молясь и замерзая в ночах, добрела я до большого города, созданного из кишения дырчатого камня, глупых скал и стен отвес, до небес, из сот и склепов – вырывались из дыр огни, и имя ему было то ль Бабье Лоно, то ль Волчье Логово, то ль Умри-Герой, а то ли как еще, разве хороша память у меня. Тысячи дорог я мерила хлипким телом, маятником Простора, и возжелала отдохнуть. А город тот, сумасшедшенький, кипел и блистал весь проклятыми, богатыми харчевнями – пруд их было пруди! На всяком углу – искры рассыпали! Зазывали! А я, Ксенья, беднячка. Босячка. В мешке через всю землю прусь. Ноги в крови, в цыпках. Мыслию так: меня туда, в Царскую едальню, нипочем не пустят.

Подхожу к чугунной двери, стучу в застекленье, жду – удара, крика, ругани, толканья взашей. Приготовилась. Вечер, полыхают и шевелятся по всей безвидной тьме огни, легион огней – жгут спину, там, где у ангелов крылья бывают. Может, это ноябрь. Мне холодно. Мне робко. Мне бы поесть и согреться. Там цветные стекла бесятся, дамы в боа скрючились над печеным и жареным мясом. А я тут шавка. Шыр, шыр – шаги к воротам. Роскошный скрип. Отворенье – настезь.

– А, это вы!.. Пжалста, мы давненько вас поджидаем. Быстрее, быстрее!.. С вашим гримом... Знаем, знаем, как вы долгоношко переоблачаетесь, видали...

Пустили! Приняли за кого-то, ну и ладно. Я втерлась в залу сквозь блестящую жучиную толпу. Все благоухало. В нищей Шамбале знали цену ароматам, по косточкам ведали их смысл. Запахи шли слоями, густились, тупели. Разве можно испечь из запахов многослойный пирог? Я села за пустой стол, укрытый камчатной скатертью, и крикнула: «Принесите мне хлеба!» Все головы обернулись, и все глаза уставились на меня. Человек в черной коже, кисло скукожив рот, чтоб не смеяться, притащил мне на серебряной дощечке немного кусков хлеба, графин с чем-то кровавым и тягучим и солонку с серой, расколотыми друзьями, солью – на, подавись. Я стала чинно есть под тихий говор и пересверкивание глаз. Я была голодная и замерзшая, и спасибо тому кислородному, что меня накормил. Только я успела поднести неведомый кусок ко рту, как загрохотали бубны варьете, и мохнатые девки с голыми, как лилии, ногами полезли на возвышение, скалясь и топоча, и вперед, из всех, вырвалась коричневая, пахучая, маслено-потная девчонка, глаза – по плошке, светятся, как у кошки, шея торчит башней из кучи кружев, колени вздергиваются до подбородка: бесовка! Так заплясала, что я ей закричала:

– Поддай, поддай! Еще, еще!

И я захлопала что было сил в ладоши, вскочила и засвистела – свистеть меня научили приморские мальчишки в поселке, я и залилась соловьем. Вся ресторация с куриных насиженных мест повскакала. Бабы, что поближе ко мне, краской до ушей залились. Гогот! Гвалт! Эти, жуки в черном, меня уже под локти берут. Разобрались, видно, в чем дело. Что не та я, кого ждали. Не клоунша, а настоящая. А настоящего им не надо. Крема не было внутри меня: одни отруби крепкие.

Вот уже волокут, тащат, усовецивают, – а эта коричневая тетка как рванется ко мне с деревянного постамента, вцепилась мертво: «Дайте мне ее, дайте!» Выговаривает странно. Наша речь – и не наша тоже. «Уйди, Испанка, – жуки ей вопят. – Это совсем не госпожа Ско-робогатова. Это, видно, побирушка из подземного перехода, шваль. Погреться ей захотелось! А потом в притон пойдет, на малину. Не мешай – выгоним!» Смуглянка меня за плечо схватила и к себе тянет. «Нет! – визжит. – Не отдам! Мне ее пластика нужен, пластика! Понимай! Дурак, официант! Ты не думай, Петька, это быть лицо ресторана!»

Так тащили меня в разные стороны, и была я вмешана в дикое тесто толпы, и давила и мяла меня людская свара, и видела я у людей песьи головы вместо живых лиц, но Испанка поднатужилась, сильней оборотней оказалась, вырвала меня из черного душного месива, вытянула. В борьбе мне вывихнули кисть, Испанка потянула и вправила, я заорала от боли.

– Кричать? – улыбнулась Испанка, коснулась пальцем моего подбородка. – Голос быть замечательная! То, что надо! Мешок – снимать?..

Я так и не сняла свою одежду. Мы поладили с Испанкой. Она учила меня танцевать. Место, где все толкались и пили, сзади большого ресторанного зала, называлось – ночной бар. Я знала, для чего я ночью не сплю. Но эти, зачем у них отнят был сон? Затем ли, чтобы ужасом сласти и желания наполнять, насыщать под завязку живые мешки угрюмых тел своих? Я не осуждала их. Я видела – Волчье Логово живет по своим законам, которые мне не нужно было постигать – я видела их, как мертвую птицу через стекло, – мне надо было смириться с ними, носить их на плечах, совать их в карман. И знала я, что не смогу; и печаль сжимала птичье сердце мое.

«Нога – здесь!.. Нога – вверх!..» – повелительно кричала Испанка, заставляя меня делать вместе с нею танец. Я вздергивала ногами. Мешок болтался, голизна моя была вся на виду. Не собиралась я становиться танцовщицей. Зачем я шла на поводу у Испанки? Оттого, что она меня спасла? Она наряжала меня. Баловала. Не доедят богачки – она после грохота варьете быстро оббежит залу, соберет прямо в подол все вкусненькое, всех звезд-морских-лимонов, все орешки-в-мережку, – и бежит ко мне, несется, припрыгивает, танцует: «Вот, ешь, Ксения,

ми корасон! Ми маха! Керида! Мы много сил надо, чтобы – жить!..» Она не знала, как проклинала я жратву, еду – благословляла. Но ела покорно эти барские фитюльки, чтобы доказать ей, дивной, коричневой, свою любовь.

Да и она любила меня. Часто – сидим после танцев, отдыхаем – мне руку на ногу клала. Искала глазами глаза. Нежно по шее, вдоль сонной жилы, гладила. Но разве в телесах ласкаемых все дело любви? Выражаем ее коряво, плотью. А она высоко, над нами. И не поймать нам ее руки и ноги в танце, ее летящую спину, бьющиеся бедра. Однажды Испанка наклонилась и поцеловала мне ладонь. «За что?» – спросила я, смеясь. «За радость, ми корасон», – был ответ. И я бросилась ей на шею, и пылко обняла ее. А все актеры варьете заржали, как лошади, ибо вся любовь наша нищая, светлая, проходила у них на глазах.

– Гляньте, кошки!.. Гляньте, кошки!.. – взвизгнули девицы, поджимая животы, тиская и трясая в ладонях свои груди. – Гляньте, соком истекают!.. Уж ничего не скроют, нахалюги!.. Ну ты, Испанка, не тушуйся, ее нашенскому ремеслу натаскай, обучи...

Шла ли речь о ремесле любви? То, что было со мной на холодном сыром молу, застлалось ветрами, солью, земною пургой. Я не запомнила ничего, кроме боли и радости. Но и этого было довольно; но и это было наградой – мне, малой, не отработавшей работы Богу за то, что живу. Я не боялась Испанки. Я любила ее. А она, когда нарядит меня в море обносочных кружев, в круговерть запятнанного закулисного атласа то цвета яблок, то цвета крови, – кричит дурашливо и зазывно: «Ох, Ксенья, я боюсь тебя!.. Я боюсь тебя!..» Я мрачно скину наряды, под ними – родной мешок. И уйду в ночь – одна.

Как ни просила меня Испанка, бедная, как ни умоляла, – я упрямо уходила одна, ибо ночевала я одна в одной комнате, одной из многих пустых и озверелых комнат, в большом и благородном старом доме на слом, в пустом, где были одни вьюги, огнем переулке, называемом в народе «Цирком». Меня предупреждали, делали страшные глаза, но я увидела лицо хорошего дома и погладила его по лицу, и нагло вперлась туда, поселилась – мне запоры были ни о чем, пожарные запреты и ночные облавы: я залезла наверх по скелетной железной лестнице, по которой спасают из огня детей, вваливалась в разбитое окно, ложилась на безногий диван – из него по ночам выползали древесные жучки – и беззаботно засыпала, благословляя мир, благословляя тепло, ложе, ночлег, сон. Во сне ко мне приходили: мать, Царица, жена Царя, и Испанка. Они меня ласкали, водили руками по моим щекам и животу, ругали меня, плакали надо мной. Я пьяным от сна языком утешала их, чтобы не скорбели обо мне, ибо путь еще дальний. Когда дворник в дворницкой, в подвале, кочергой громко треснет о черенок лопаты или двинет ломом для колотья грязного льда в ветхую, гиблущую стену – просыпалась. Проснусь и молюсь: Господи, дай спящим – сон, любящим – сон про любовь. Кому, огромному и недужному, снимся мы, малые букашки, древесные земные жучки, в крошечной и сумасшедшей черноте Божьего неба?!..

Дворницкий дом, кабацкое молчанье. Кто бушевал в том доме до – меня? Ночью голоса наваливались на меня, кричали в уши, вопили и пели. Это были не ресторанные сны. Люди живые пели и плясали мне свои отгоревшие жизни. Вертелись и плакали цыганки в цветных тряпках. Безумствовали оркестры, и брызгал пот от музыкантских лбов. Шла старуха с подносом, чашки катились, накренья, и разбивались о паркет – и под чепцом сверкали – на старом, высохшем лице – мои, мои глаза! Одежды шелестели, тела мерцали, остро и жарко пахли; растегивались пуговицы, рвались ленты, хлопали резкие расстанные двери, – чьи лошади ждали, топчась, у ворот?!.. Тоже мои?!.. Это все была я. Все эти прошлые мужики, все бабы. Они разрывали меня надвое своею болью, как завесу в храме. Я вертелась на топчане веретеном. Пружины скрипели, смеясь. На мокрое лицо мое глядели в окно ножевые звезды.

И я вскакивала с калечного диванишки, задирала лицо к пустому потолку, где в щелях жили жуки, и пела дико, рьяно:

*А – эх! – мои вы кони благородныи,
А – эх! – мои вы златы пироги...
Попробуй тронь!.. – умру, умру свободною,
И вдаль уйду, где ни звезды, ни зги...*

Дом ухал мне в ответ на песню пустыми чахоточными легкими.

Ходила я, ходила так ночами, и доходилась. Однажды нарядила меня Испанка махровой гвоздикой. Мы плясали перед ночными людьми до упаду, до сладкого пота меж лопатками. Они швыряли нам веселые расписные бумажки – Испанка их собирала в подол, казала зубы толпе – голубую искру меж смуглых щек, – это были безумные деньги, больные, и, может, за них-то возмездие и настигло. В черный разлив ночи, волчий и совиный, закончилось варьете. Испанка хватала меня за руки. Я смеялась, вырывалась и убежала от нее, не сдернув цветных одежд. На воле мело белым, алмазным. Я бежала сначала каменными угрюмыми лощинами, потом влила реку тела в проходной двор. Там стояла телега, вся занесенная снегом. Лежал круг сдутой пустой шины, весь седой на морозе. А я бежала в ярких тряпках. За мною послышалось дыхание, кряхтение, скрип. Морковный хруст. Меня изнутри обдало кипятком, и я решила не оглядываться. Думала – убегу. Если б в любимой мешковине одной – улетела бы. Ноги сами несли. А тут Испанкины навороченные слоями, как сливки на торте, лохмотья. Как она кричала: «Красота!.. Красота!..» Меня красота погубила. Настигали. Трое. Может быть, четверо. Тьма страха укрыла веки, виски. Вот уже цепкая лапа схватила плечо. Тот, кто обогнал, дал ловкую подножку. Я свалилась – носом в снег. Спину мою прижали коленом. Топтали ногами. Я узнала, каково это – когда ходят по тебе; ходят по загривку, по хребту. Когда крестец хрустит, как снег.

Они катали меня по снегу. Валяли. Ломали меня, выворачивали руки. Я пробовала кусаться. Они вырвали мне сережки – подарок Испанки; сорвали красную, с багряными кистями, шаль, совали в рот, пытались затолкать в глотку мантилью. Думали умертвить мой крик. Я заорала! Крик вышел из меня, как ребенок! Резали ножом, прямо на мне, алые, синие наряды. Разрывали лезвием кожу. Кровь текла на снег. Я знала, что будет еще страшнее, и уже не страшилась. Ясно, кристально текла мысль. Я видела себя со стороны и чуть с высоты. Было больно, печально. Они распяли меня на снегу. Тыкали ножом в живот, надсекали подмышки. Кололи ребра. Я уже не кричала. Следила, как алеет чистый снег вокруг меня, набухает ужасом и страданием. Мои запястья и щиколотки были прижаты к ледяной земле чугуном коленей, клешнями нечеловечьих рук. И это были люди. Люди – все у них было устроено как у людей; двое крепко держали меня руками и ногами, третий сопел, отдуваясь и задыхаясь, плюясь перегаром, всовывая в меня себя: человеческий отросток, земную плоть, белемнит – чертов палец. Я захлебывалась солью чужого наслаждения, а в это время два других беса чертили на мне остриями ножей кресты. Один, другой крест – я хорошо чувствовала, что это кресты, я выгибалась, чтобы их, сочащиеся кровью, на себе увидеть. Не могла. Слишком сильно прижимал меня к заметенной земле сначала один; потом второй; потом третий; а потом кресты слились в одно красное Солнце, и тут я ничего не помню.

И все затянулось, как плохая рана, синей, плотной кожей тьмы. И я стала видеть не глазами, а затылком, пальцами, пупком, пятками. Синие зубчатые горы стояли вокруг меня. Я шла к источнику с кувшином за белой водой. Нищие тетки сидели на дороге вдоль моего пути, скалились. Тянули ко мне дрожащие руки. Во всякую ладошку я клала старую денежку. Раздавала улыбки направо, налево. Раскосый, бородатый и длинноволосый разбойничий Будда приходил к холодному источнику и любил меня. Я знала, что это нищая Шамбала. Там валялся на дорогах такой же, как у нас, мусор вперемешку со снегом; но там был раскосый Будда, и он называл Исуа: «Исса, сын Мой», – не потому, что Он был его сын, а потому, что сильно любил Его. Это потом их сделали врагами. Вложили им в руки огненные мечи. А они сидели рядом

в нишей Шамбале, пили из каменных пиал, тесно сдвигали лбы. И так сидели, подобно памятнику вечной любви.

Может быть, я проснулась потом. Проснулась – грязный песчаный и глинистый берег большой, как свадебная простыня, реки. Поздняя осень. Снег еще не лег. Дебаркадер с белыми некрашеными колоннами вмерзает, качаясь, в ледяную воду. Отражение его в воде – призрак. Я сплю под забытой в зиму просмоленной лодкой на чужой рабочей фуфайке. Зябко, смертно, зимне, и я кажусь себе смотанным в клубок живым канатом, вервием, которому больно. Оно оставлено здесь на зиму, и его развяжут лишь по весне. И, может быть, на нем повесится старый бродяга, поднимет дрожащими руками лодку, чтобы лечь под нее, как в могилу, и подумает: вот счастье мое, вот мой покой.

Ты мой покой, подумает и старик бакенщик, он – вон, рядом со мной, спящей, ругается крепко и просто, пытается поймать ноябрьскую плотицу сетью-пауком. Глупый. Бедный. Никого ему не поймать пауком. Никогда.

И опять я пыталась разорвать стягивающуюся намертво рану ногтями, зубами! Если мрачные края сошьются – я больше не вылезу наружу! Пусть меня распнут еще раз и еще; пусть убьют; пусть пытаются; это муки жизни. С молчанием, со льдом колодца смерти их не сравнить.

И я услышала опять свое хрипенье. Услышала свой рык. Свои ругательства. Свой крик. Свой ор. Он пронзил проходные дворы. Он заставил отшатнуться распинающих меня. Я вопила, билась в вопле, и я внезапно поняла, что:

СМЕРТИ НЕТ.

Я навек поняла, что:

СМЕРТИ НЕТ.

Я содрогаясь от счастья, бесповоротно поняла, что

СМЕРТИ НЕТ И НЕ БУДЕТ,

потому что ощутила себя – во всех жизнях и все жизни – во мне. Все было во мне и я была во всем. Это было так просто, что я кричала от счастья. Те трое, четверо или пятеро, та безъязыкая толпа схватила меня и несла во тьму, тащила, ломала мне голодные кости, затылком я видела мелькание черных и серебряных сугробов, изморозь на избитых камнях, лестницу, пропахшую далекими криками и далекой кровью, меня волокли по ней, о ступени стучали мои виски и пятки, и в темной камере ждали и визжали еще люди – да, люди, ибо все человеческое было у них; и они также распинали, распяливали меня на каменных плитах, и я утыкалась носом в плевок, и в раззявленный рот мне лез брошенный, еще горячий окурочок; и я слышала оголтелый звон тимпанов, рев дудок, бряцанье систров; из табачного тумана лезли еще и еще рожи, голени, чресла, отлетали пуговицы срамных одежонок, зияли прорехи; и когда мною натешились вволюшку, наизмывались, наглотались всласть моего смертного крика, живого, бьющего фонтаном, кровью из великой жизненной жилы, – подтащили меня, подпिनывая, матерясь, прижигая голые плечи и брюхо окурками, к раскрытому окну, раскачали и бросили прямо в ночь. Я царапалась обратно, вцеплялась в подоконник, вопила, обнажая зубы и язык, но все было напрасно – меня выгалкивали, отдирали с мясом мои цепкие руки и ступни, пихали в затылок, в шею, били наотмашь в спину, и, наконец, я полетела вниз – не раскинув руки, а грубо и бескрыло, камнем, топором на дно зимнего, крутящегося бешеного мира.

И, падая, я разбилась на много кусков, и посланные наутро люди и нелюди находили внизу, под окном, мою окровавленную ногу, кисти моих рук в браслетах, не сдернутых насильниками, лоскуты моей кожи, лопасти лопаток, арфу сухожилий, мой череп – мою бедную голову с настезь открытыми глазами, продолжающими видеть все – и белесое молоко неба, и худую ведьмину метель, и трясущиеся руки бандитов в грязных перстнях, собирающие мои зрячие останки, и мои белые, поседевшие за ночь волосы, нищие пряди, бьющиеся на ветру.

Ее гуляния по Армагеддону расходились кругами.

Она шла по кругу из центра; охватывала любовным взглядом плоские и островерхие крыши, нагромождения бетонных свай, тяжелые деревянные следи, блестящие сотовые окна Вавилонских Башен. Внезапно она останавливалась, садилась на снег, доставала из-за пазухи сверток с едой, разворачивала истрепанную бумагу, брала пальцем простую еду и важно ела. Она не видела глаз, не слышала голосов. Она всегда была сама с собой, а пережитые смерти защищали ее от хулы и поношения.

Поев, она шла обратно, возвращаясь на круги своя. Ночевала где придется. Чаще всего – на чердаках и в подвалах. Сбивала замки кирпичом. Влезала в разбитые слуховые окна. Сто-рожка знали ее, жалели, открывали, что поплоче – каптерки, сараюшки. В своем мешке она сворачивалась клубочком и крепко засыпала, и видела сны, и говорила во сне.

А наутро снова шла по широкому кругу, по солнечной спирали, преодолевая препятствия, перелезая через частоколы и заборы, проползая под землей в грязных трубах; и, когда выходила она на простор и ее обступали Солнце и воля, она шагала широко и легко, точно ставя на снег узкую ногу, и во ржи ее волос пел ветер, текли реки, вили гнезда галки и вороны, цвели васильки, путались хлебные корки.

Она по кругу катилась, как Солнце, и шла на закат. Ей навстречу однажды метнулась птицей мрачнолицая женщина с длинными по-египетски, агатовыми глазами. Ксению пригвоздили древние глаза, распластали по замызганной кирпичной стене. «Кто ты такая?» – «А ты?» – «Я первая спросила. Не хочешь – не отвечай». – «Пойдем со мной – узнаешь». – «Хитрая!..» – «Не хитрей тебя».

Это все сказали глаза друг другу. А рты бормотали:

– Извини, подруга. Может, не так поглядела...

– У тебя слишком тяжелые зрачки. Буравят...

– Да я несчастная. Муж у меня ненавистный. Ух, убила бы его. Задушила бы, не охнула.

У меня есть любовник! Чудо. А муж сволочь. Муж не лапоть, с ноги не сбросишь.

– А ты попробуй, сбрось. Освободишься.

– Тебе хорошо говорить. Ты свободная. Чужими руками здорово жар загребать. Я убью его. Что скажешь на это?

– Убей. Только потом не вой на Луну.

– Ну и повою. Не заржавею. Не обеднею.

Две женщины разговаривали о любви и смерти – что было странного в этом? Пролетели два, три слова, и Ксения узнала, что египтянку зовут Катя Рагозина, что любовник любит ее до безумия, что она уже приготовила для мужниного гроба чистую рубаху и полотенца, а также на выбор: страшный белый порошок без запаха, от него, по слухам, через миг задыхаются, падают мешком, остро заточенный кинжал – ну, это детский сад, это ж просто смех!.. как она его ему всадит-то, не умеючи, под какое ребро!.. оцарапает только, а он ее за руку – хват!.. и за решетку!.. а то этим самым кинжальчиком – и тук!.. – и ну его совсем, кинжал этот, а вот насобирала она в чахломе лесочке близ Волчьего Логова настоящих поганок, жутких, тонкошеих, в бледнозеленых кружевных юбочках, и засолила по всем правилам, – вот это будет верняк, Ксения, натуральный верняк. Чистая работа будет. Как жалко лет, прожитых вместе. Как просто: выпить водки, заесть соленьким грибочком. Ух! вкуснота. И рот утрет, и ус закрутит. Он у тебя усатый?.. Да, собака. Так бы все усы и повыдергала. До того ненавидишь?.. Да, ненавижу. А любила? Да, любила. И помнишь, как любила? Ничего не помню. Ничего.

Катя Рагозина схватила Ксению за холодную красную руку и потащила за собой. Домой?! Да, домой, ибо дом человека – везде. Даже там, где тебя ненавидят. И ты ненавидишь. Ну уж нет! Мой дом там, где ветер и воля. Но бежали, бежали по утлой слякоти, шли по водам сизых подмерзших луж. Подталый снег скалился выветренными серыми зубами. Деревянный дом, деревянная жизнь. Деревянные грибы из деревянной миски. Катя кормила Ксению на кухне, среди салных огарков, из оловянных мисок, и картошка была столь твердой, что Ксения гло-

тала ее, как камни. Кривые вилки и изгрызенные алюминиевые ложки, светлые, как сумасшедшие глаза, дрожали в руках, падали на пол, и Катя вздрагивала и шептала: «Баба придет... Мужик придет».

– А когда придет муж? – спросила Ксения шепотом и расширила глаза, и стали они круглые, как страшные маленькие грибы в тайной баночке за жирным стеклом серванта.

– Когда-нибудь и придет, – зловеще сказала Катя, и клык ее в свете тусклой кухонной лампы сверкнул резким золотом. – А ты не думай об этом. Ешь. Я тебя не в свидетели позвала. А чтобы подружиться с тобой. Потому что я тоже человек. И мне страшно. Мне страшно одной. Как это я – сделаю убийство, и что – останусь одна?.. Со своей душонкой... одна?!.. А тут ты. Ты хороший человек, потому что бедный. У тебя башмаков нет. И шубы тоже нет. А бедные всегда лучше, чем богатые. Я богатых тоже ненавижу. Они бедных съедят, с потрохами, и не пикнут. Я бы богатых тоже убивала. Люди людей убивают, а нам телят не велят. Так-то, Ксенька. Лопай. Может, и ты меня пожалеешь.

Часы на стене, с римскими, в виньетках, цифрами, с золотой Луной маятника, пробили тринадцатый час. Грохнула деревянная дверь, запахло сыростью и водкой, и вошел муж Кати Рагозиной. Доха его разлеталась на два крыла, из огромного рта летел перегар, на виске чернела заросшая дыра старого шрама. Росту он был невысокого. Бритая голова отсвечивала сусальным золотом. Его белые, бешеные глаза сразу вонзились в Ксению, как охотничьи пули.

– Это что, новая курвочка?.. – ткнул он в Ксению сучковатым измазанным пальцем, – опять в яме подобрала, сердоболка?.. Кормишь... питаешь. Моими кровными! Сосцы питающие, лядвия жадные. Та-ак!

Ксения резко отшатнулась от тарелки. «Извините», – сказали по-собачьи ее смиренные глаза. Она видала штопку исподней жизни, видала и ее парчу – чего ж ей было бояться? Ну, выгонит. Ну, побьет. Еще раз по ней ногами ходят. Еще раз хребет сломают.

– Не тронь ее! – яростно крикнула Катя. – Не видишь, кто она! Не так на тебя взглянет – и тебе каюк. Понял? Дай нам на бутылку красного, сладкого. Где твои усы?

– Тебе явилось дело до моих усов? – Он нехорошо усмехнулся, сбросил доху на пол, наступил на нее сапогом. – Сбрил. И долыса побрился. Есть гони! Дело провернул. Выдохся. Трясся в железной кабинке ночь и весь день, сильно гнали, уходили, надо бы успеть. Для тебя стараюсь. Как об стенку горох. Ты лед! Но я не ледоруб! Есть! Быстро!

Катерина метала на ковчег стола посуду. Пока муж Катерины ел, Ксения глядела на желваки на его скулах и содрогалась всем телом. Он ел и пил, смачно и зычно ругал жену, шурился, жмурился, шупал синеву на месте сбритых усов, потел и розовел от выпивки, еды и тепла. Катя молчала. У Ксении кружилась голова, болела сердцевина лба, то место, где у Цариц сияет белая звезда. Миг был пойман. Когда объевшийся муж начал падать на бок, Катя подхватила его и привычно, пряча за сцепленными зубами угли ругательства, поволокла – и ноги его зацеплялись за ножки кресел и шкафов, царапали сапожными пятками половицы – в кровать, спать, спать, в небытие. За грубо покрашенными дверьми таился альков. Ксения слышала, как грохнули об пол сташенные сапоги, как зашуршали у Кати в пальцах выкраденные из кармана кредитки. Потом настала гневная тишина.

Господи, помоги бедным людям. Помогите им жить и умереть.

Если это возможно.

Ксения закрыла глаза и забормотала молитву, ей мать ее научила, корявую и нежную, из двух слов состоящую. Она изнутри видела свои красные сомкнутые веки и кольца туманного небесного света, что держат в зубах, улыбаясь, шестикрылые серафимы. Свет сгустился и перешел в звук, тягучий и бесконечный. Веки стали тяжелыми и неподъемными, как снулые красные рыбы. На ресницах выступила деревянная соль. Колокола и бубны забили под ребрами, и она ухватила краем сознания, растворившегося, как сода в воде, что выходит из тела своего, что руки – не ее, ноги – не ее, мысли подо лбом и сердчишко в груди – уже не ее, не ее, и волосы

не ее, и живот со следами шрамов от мужских зубов, и пятки. И горящее лоно, ждущее прелюбодейства и преступления, ей уже не принадлежало. А кому?! Кому?! Глаза тяжелыми агатами ходили и перекатывались под чугунными веками, зыбь дрожи шла по белой реке холодной кожи, руки ощупывали чужое тело, и чужая память услужливо подсказывала: Катерина. Тебя зовут Катерина. Красивое имя. Гордое. Царское. Знаешь, Катька, муж храпит. И сейчас придет твой хахаль. Нет любимее. Что вы с ним задумали – сотворите теперь?! Или века спустя?!

Мы не из робких.

Слушай. Слушай звонок или стук.

Забарабанили в окно. Трещины зазмеились по испарине стекла. Она метнулась к двери. Бросила беглый, изумленный взгляд на себя, застывшую в кресле напротив. Что это за тетка? А, я с улицы привела. Жалко стало. Голодная. А у меня всегда есть чего пожрать. Почему она сидит и спит сидя, в мешке? Подарю ей старые бусы из поддельных янтарей и дам с собой риса мешок. Мешочная дура понесет мешок риса, к груди прижимая. Будет за меня, добрую, всю жизнь свечу ставить. Ой! Она спит... с открытыми глазами! Они открыты и сияют. А у меня?.. Где зеркало... вот... Тоже сияют. От счастья. От предвкушения тела, любимого мною. В каждой веточке любимого тела, в каждом его оборванном листе – душа; любимое тело вонзается, входит, врезается, втыкается, липнет – это любимая душа хочет войти в любящее тело и стать душой тела любящего. Хочет стать одной душой на двоих. Не жирно ли будет?! Ишь, владыка. Двух сразу ей надо. Не плачь. Разберемся. Глаза горят, пылают. Живот исходит жаром, скользью, слепотой, горечью. Он идет. Открывай скорее, цапля.

Швырнула ключ в угол. Он влетел, поджарый конь, высота его соперничала с удобой. Весь горел под одеждами, подобрался, как перед прыжком. На огромный круглый лоб спускался темный язык коротко, по-воински, стриженных волос. Она губами ощупала его улыбку: настоящая. Жжет. И тощие сильные руки жгут, сквозь черную кожу одеяний.

– Как сияют твои глаза.

– Да брось, не мели ерунду.

Давай схватимся, обнимемся крепче. Так крепко, как только сможем. Какая железная сила в объятии! Крепче объятия только сила неостановимого броска Земли в черной пустоте. Обними еще крепче, если сможешь. Где ты? Вот я. Сделай мне больно. Проколи меня. Сцепи клещами. Я с радостью делаю тебе больно, и твой сверкающий стон – продолжение моей жалкой жизни на земле. Земля летит, и мы с ней. Примазались. Лети во мне. Рассекай меня крылом. Неужели я такое тебе небо? Да, ты небо мне. Ты мое небо и моя земля. Ты моя женщина и камень под моей стопой. Я попираю тебя, и я собираю тебя. Кричи, раздавленная мной. Да будет сияние вознесенного крика. А-а! Не здесь. Возьми меня на руки и неси. Одно из перьев в крыле – я. Тысяча перьев, тысяча женщин. Ты мое горящее перо. Я не выдерну тебя из себя никогда.

Он внес ее на руках в спальню, за дырявой ширмой храпел муж, и прямо на холодном полу, на грязных плоских досках, обдуваемых сырым сквозняком, на розе невидимого креста, где Север – голова, Юг – нагие рыбы хвосты ног, Запад и Восток – рука и рука, раскинутые поперек ледяных половиц, они быстро и жадно раздели друг друга, содрав друг с друга одежды, как пьяница-инвалид сдирает шкуру с высохшей дотла рыночной воблы, и, продолжая гладить друг друга и целовать, стали вминаться друг в друга острыми и гладкими выступами горячих потных тел, которые были лишь жалкими, бедными выступами, теснинами и скалами душ, их сколами, их нехитрыми, бедняцкими слепками, и восхолмья и вмятины неловких, несчастных душ вонзались и впивались друг в друга, друг к другу прилипали, друг сквозь друга протекали горячим питьем, потом, нежной дрожащей слизью, ярким соком розы, склеивались осколками, вжимались складками и впадинами, и там, где совпадали – тика в тик – вершины и ямины, столбы и провалы, дрожь великого счастья покрывала несчастную, неуклюже слипшуюся поверхность, горящую липкую корку, и сварка диких живых металлов засты-

вала на пустынном сквознячном ветру, на голом полу, близ горячей тускло лампы, близ тускло горячей, нищей жизни. Так любили друг друга любовники, и любовница сияла все ярче, а любовник входил в разверстную пещеру любимого живота торжествующе, по-царски, и вот уже живот кричал, и руки кричали, и ноги кричали, и жизнь женщины останавливалась в страшной радости непобедимого крика, и его невозможно было заглушить ничем – ни земляной, грязной ладонью, ни костистой грудью, ни угрозой разлуки. Ты жизнь моя, женщина! Ты моя женщина, жизнь. Мы убьем всех мужей. Мы станем одним андрогинном, одним волчьим телом. Мы убежим в леса. И пусть охотники нас убьют на вольной охоте. Не отцепляйся от меня. Будь внутри. Я так давно тебя искал. Гляди, вместо красной горячей пропасти вокруг меня сомкнулось крепкое кольцо. Ты сжимаешь меня. Ты сожмешь, сдавишь, выпьешь меня. Ты любишь меня. Ты так любишь меня.

Не расцепляясь, они говорили. Шепотом кричали. Смеялись. Стонали, выгибаясь, катаясь по полу клубком. Храп из-за ширмы пугал их.

– Давай всунем ему в рот грибочек, пока он спит?.. Он и проглотит.

– Он задохнется. Кашлянет и выплюнет.

– Проглотит!.. Дай запить ему вином. Вино все затынет пеленой. Ничего не поймешь. Заспит.

– Он уже не проснется. Но как...

– ...как мы разорвемся?.. А-ха-ха!.. Никак. Вот так и будем теперь жить. Так ходить, есть, спать... смеяться!.. Ха, ха, ха, ха...

Соблюдая обряд, они, не разлепляя горячей глины тел, подползли к шкафу, выцарапали оттуда баночку с грибочками, покатались, вздымая банку над растрепанными головами, туда, за ширму, где оглушительно храпела смерть. Дышали тяжело. Оперлись локтями о край кровати, о заберег засаленного белья. Крышка покатила в щель, грибочек добыт тонкими пальчиками. Рот, целованный ею многожды, рот без усов, синяя щетина, вино на подбородке. Ну, ам. За маму. За папу. За любимую жену. Кушай еще. Еще. Еще. Ну и еще, вот. Умница. Хороший мальчик. Ешь, зверюга. Сдохни скорее.

Он хрипнул, хрюкнул, забулькал, крякнул скрипуче судорожной глоткой, грибочки падали в нее, как свинцовые грузила в пасть хищного старого сома. Яд она сотворила сильный и мгновенный. Он выгнулся брюхом вверх, забился, запрыгал грузным телом по ложу, задержался в сетях пахнущих человеческими соками тканей. Сколько длится прощание с жизнью? Два лица, сдвоенная бледная Луна, уперлись в картину агонии, застыли. Минуту назад они знали только свою любовь. Теперь они узнали чужую смерть и напугались.

Они, намертво засев друг в друге стонущими занозами, поняли, что корчи и расставание с воздухом и светом ждет всех. И эти все – были они; и он, корчащийся, невинный, – опять были они; и дерево за окном, и заяц в лесу – снова были они, и они были обречены смерти, и они до боли в костях не хотели ее. А она кричала им из уходящего тела: «И вы мои! И вы мне нужны. Я люблю вас. Я вас люблю. Я жду вас».

Обритый долыса человек выгнулся на грязной кровати последний раз и затих. Из угла рта его побежала синяя слюна.

Ужас объял любовников. Их глаза остекленели. Рты раскрылись. Они выталкивали ужас наружу дыханием, но ужас влетал обратно в грудь через хриплые глотки.

– Конечно, – выдавил возлюбленный, содрогаясь крупно, медленно.

Банка с грибами перевернулась, серые слизи вывалились на горбатые половицы. Он умер. Умер. Она убила его. Убила. Ее воин прижал к себе ее, добычу. Дорогой ценой добыл ты ее, парень. Дорогой ценой.

– Ты, ты не плачь, не бойся, – губы его прыгали и улыбались, – ты только не ори, с тобой сейчас пройдет. – Он закрыл ей раскрывающийся, как у рыбы, рот потным голым лбом. – Мы

так давно этого хотели. А теперь мы вместе. Вместе! Дура! Не поняла! Трясешься. Тихо. Тихо. Люблю тебя. Я же люблю тебя. Я же больше жизни люблю тебя. Я же больше жизни... лю...

Она вцепилась зубами в его голое плечо. Исступление росло, скатывалось в огромный снежный ком, забивало ей уши и ноздри. Свобода, за которую заплачено ужасом, хохотала над ней. Она выгнулась в жилистых руках любовника, вертясь, угодила локтем ему в лицо, разбила губу. Он ловил ее за шею. Ломал ей сведенные судорогой руки. Орал:

– Тихо! Тихо!..

Молнии били в нее и из нее, живые руки ее не могли пригвоздить и спасти, все рвалось, летело и трещало по швам, ужас залеплял ей глаза, вставал в глотке костью гигантского Ионина Кита, ее выворачивало наизнанку, не хуже, чем от тех грибочков могло быть, своя стряпня ближе к брюху своему, это понятно, но отчего идет волною тьма, железная тьма сжимает квадрат света, и держат ее, истязая, уже не живые родные руки, а железные крючья, и на деревянные копыя насажено ее орущее нутро, и железные гвозди, те, что потеряли по дороге старые римские солдаты, синие от мороза гвозди, вонзаются в ее запястья и ступни, – Боже, Боже, зачем Ты оставляешь меня, я же человек, я не хотела убивать, лучше убей меня, лучше раздави стопой Своей, чтобы не видеть мне мертвого тела человека, с которым я прожила много красивых хлебных лет. Боже! Зачем Ты вырываешь мне внутренности! Ведь я же не собака! Ведь не устрица я, чтоб меня из раковины – вон, с мясом! Убей меня милостивее, чем я убила его! Не рви меня на части! Не загоняй в меня дикие крючья! Не выдергивай с визгом переплетенья нутра! Будь милосерден! Я не оказалась пред Тобой человеком – будь со мной Богом! И тогда я поверю, что Ты Бог!

Тиски тьмы сцепили ее залитые холодным потом виски, и она полетела вниз и вбок, кося слепым вытарашенным глазом на вихренья миров вдали и вблизи. Возлюбленный неистово сжимал ее, тряс, плакал. Последнее, что накатывалось на нее, – белое и жаркое пятно круглого света, вылезавшее из грязной тьмы, слепящее глаза и освещающее все изъяны тела и потайные нищие мусорницы духа; резкий правдивый свет, сходный с солнечным, но ярче, жесточе и голоднее. Пятно сожрет ее, подумала она, проваливаясь и летя, и это было последнее, что она запомнила, будучи Катериной Рагозиной.

Песнь Ксении по восчувствованию в сердце ее жизнью иных людей

...лицом в снегу, очнуться, на Площади. Жить. Опять быть. Ну и живуча! Как муха. Кто с кошкой сравнит. Кто еще с каким зверем простецким. Почему я здесь? Кто насовал мне в морду снег? Кто уложил меня ничком посреди Площади сирой?!.. А?!.. Молчите. Никто не хочет отвечать. Ну и отвяжитесь. Ну и...

Я поднялась, сперва на колени, потом на четвереньки. Богато и строго одетые люди и важные железные повозки сновали по кругу, как белки в карусели, вокруг меня. Я бредила, я торчала в самом сердце засыпанной снегом по горло Площади, как изюм в булке. Где я была?.. Кто-то выбросил меня за ноги с высокого этажа?.. Почему на локтях и запястьях у меня синяки, как от злых пальцев?.. Попала в переплет, это ясно. Может быть, водку в меня влили. Не могу вспомнить. Кто мне по голове дал молотком или доскою, что ли?.. Если бы человек помнил в с е, сколько лет он мог бы жить на свете?.. Три года?.. Пять лет?.. Десять?.. Забыть – это самое главное счастье. Ты рождаешься во второй раз. Ты ничего не помнишь.

До ушей донеслись звуки заунывных труб. Люди, горбясь и сжимаясь в некрасивых черных пальто, ежась и пряча головы во вздернутые воротники, шли за грузовиком, в кузове голо и красно сверкал гроб, восково просвечивала на резком зимнем Солнце мертвая голова. Оркестранты, дую на обмороженные руки, бухали в медные тарелки так, будто хотели их разбить и отшвырнуть в сугроб. Красно, безумно горели под синим индиговым небом, в окруже-

ные мертвых снегов, медные тубы и тромбоны. Ду, ду, ду, пу-пу. Музыка смерти. Так вот чем все кончается в жизни. И ты сделала это сама.

Ты?!

Ксения отняла лицо от снеговой грязи.

Я, я, я. Я, бродяжья тварь. Я ясно вспомнила свое имя. Я вернулась в себя. Вот оно, Кочевье по Душам. Этого ли ты просила тогда, в Дацане, прижимаясь к худой материнской груди?! Этого хотела – тогда, на сером морском берегу, под кнутах ветра и брызг?!

Кто ты такая, Ксения?!

Я-то?!.. А человечек я. Меня все трогают. Пощупать пытаются. Оторвать кусочек. И съесть. Не трогайте меня, думала я всегда, дайте мне спокойно жить и ходить там, где вздувается мне. А меня все трепали! Все дергали, рвали! Облизывали! Зубы всаживали! Рычали! Пинали! Катали и валяли! И я...

И ты?.. Что?.. Озлбиться должна была, да?!..

Да! Я ждала этого в себе! Спрашивала себя то и дело: «Ну как?.. Озлела ты или нет еще?..» Но тихо было там, где в человеческой душонке иной раз ночует Сатана. Молчало. И я не стала больше думать так, чтоб от меня отвязались. Все перевернулось. Оборотилось все. А когда, я и сама не заметила. «Трогайте меня все! – кричало во мне, пело, – грызите. Кусайте! Натя меня! Я ваша. Вы – это я. И я – это вы. Не вижу разницы. Кто нас разделил?! Бог?!.. Но ведь ваши волосы – мои волосы, ваши глаза – мои глаза. Я плачу вашими слезами и смеюсь вашим смехом. Так где же тут справедливость, что вы гоните меня взашей, а я смотрю волком в ваши спины?!»

И как только я сказала себе: вы и я – одно, – тут-то все и началось. Голова моя загудела, и я стала путать времена и лица. Я стала называть себя другими именами, тысячу других имен. Сегодня я не знала, как меня будут звать завтра; а завтра забывала, как я звалась вчера. Лишь Ангел носился надо мной в темноте и хрипел: «Ксения». Я не Катя Рагозина. Я не убивала этого человека. Не убивала! Не убивала!

Скос глаз на синее, желтое, выпитое страхом лицо. Брям и грюк и дзынь меди. Завыванье голодной музыки на ветру.

Ксению шатнуло, выломало ей плечи, вырвало на колючий слежалый снег, вывернуло наизнанку.

С этих пор она могла вселяться в людские бродячие тела и спасать людей от беды, если беда подстерегала их; если людей поджидала радость, Ксения изнутри, из чужой души, радовалась этой радости тоже, и люди испытывали сильное счастье, ибо оно удваивалось и удесятерилось. Это странствие по душам было не в ее воле. Она никогда не знала, кто откроется перед ней, как Царские Врата в храме; живые души плыли и расстилались в дыму дыханий, и она вступала в них, как девчонка в задранной рубашке – босою ногой – в холодную воду ручья.

Так жила она тысячу жизней. Так ее силу пили и пили слабые человеки – женщины, мужчины, дети, старухи, раскрашенные по-фазаньи девахи, кургузые старики в валенках – истопники, сторожа, кладовщики, – бабы на сносях и бесплодные матроны, несчастные любовницы и сцепившие зубы в камере смертников убийцы. Сама пройдя через убийство, Ксения поняла, что оно – не последняя ступень отчаяния, где кружится жаждающая отсечения и возмездия голова; что есть провалы во тьму еще более страшные, и даже она, счастливая в даре переселений и скитаний, не в силах отвратить бедняг от судьбы. Она не вершила судьбы, ибо не могла быть Богом; она просто проживала с человеком кусок его жизни, жевала его черствый ржаной, пила его горькую и пьяную чашу.

Она давала душам напиться вдосталь своей души – щедро, через край, плеская и расплескивая. Сердца бились то в унисон, то вразнобой. Времена слоились и смещались. Засыпая

на рогожке где-нибудь на теплом чердаке или в холодной сараюшке, она боялась увидеть во сне лица, подобные лицу Кати Рагозиной. Она не хотела идти вброд еще раз через погибель.

И все-таки она увидела ее – грубую бабу, пугающую красотой тигрицы. Неоны расцветили ночь. У Ксении мерзли руки, ноги. С наслаждением она свернулась бы клубочком у ног теплого кафе. Окна горели медово, рыже. Колеса железных повозок, глупых машин, шурали о камень мертвого города. Армагеддон готовился ко сну, заживевший, надменный. Мороз усиливался. Все шли в роскошных унылых шубах, и лица людей стучали ресницами, как часы. Ненависть была нарисована на лицах морозом. Ксения прислонилась спиной к нарядной витрине, где мерцали срезы буженины, солонины, комья фольги, мотались пышные еловые ветки. Приближалось Рождество. Люди волокли на плечах, на горбах мрачные елки, связанные веревками в виде длинных селедок. Люди тащили в коробках большие хрупкие шары, туго скрученные цветные ленты, серебряные нити, похожие на летний ливень.

Ксения хотела елки. Боже, как она хотела елки! Кто бы позвал на елку бродяжку. Кто б накормил до отвала сладким пирогом. Тонкая улыбка прорезала розовый от холода Ксений лик. Пусть пирог живет спокойно. А вот елка... без нее – тоскливо и пусто в те часы, минуты, дни, когда она должна к тебе прийти. Да разве только в елке все дело. Дело в человеке. Вот мыкается она по душам. Спасает чужие жизни. А человека нет. А человека все нет и нет. Днем с огнем, даже если всучат ей в кулак самый яркий фонарь, и она будет ходить по лабиринтам Армагеддона, высоко, выше затылка, над собой и над людьми фонарь поднимая, она не отыщет Человека Любимого. Человек Любимый – это может быть Бог, сошедший при жизни в ее живую жизнь. Где был ее Юхан? Где был юный лейтенант? Единственные лица их заслонились тысячью иных лиц. Иногда, зайдя с мороза в парную, всю в свечных язычках, церковь, она ставила за них свечу, попросив ее, как милостыню, у суровой продавщицы свеч, и крестилась широким крестом. Но елка! Елка! Елка – это божество. За елку самое можно ставить в церкви свечку. Облеплять ее свечками, как медовыми лепешками. Украшать, как древнюю женщину, серьгами, подвесками, бусами, ожерельями. Кормить, как ребенка, с ложечки – маслами и благовониями, посыпать темно-зеленые жесткие волосики блестками. У, елка!.. Ксения сладко и тоскливо вздохнула. Елка без Человека – коса без гребня. Нож без кулака. Человека у Ксении не было, и, прислонясь горячее, под рубищем, спиной к холодному стеклу витрины, она горько и светло плакала, глотая слезы, как лакомство.

Кто плыл в толпе? Эх, толпа, моя семья. Мой родной хоровод, идущий вокруг меня, как вокруг елки. Может, я елка и есть? Тогда нарядите меня. Возьмите в теплый дом, поставьте в крестовину. Укутайте мне ноги теплой пушистой грязной ватой. Посыпьте ее солью, чтобы блестела. Вденьте мне в уши висюльки и бирюльки, чтоб качались и звенели тонкой музыкой.

И так оставьте на всю жизнь.

И прямо на Ксению из толпы шла она – мужланка с грубыми, как стесанными секирой, прекрасными чертами, гром-баба, похожая на сивиллу. Щеки ее пылали малиновым густым светом. Изумруды в мочках мотались и свисали до шеи, до ключиц. Полы дубленки развевались. Она несла нечто в кулаке, придерживая у груди под шубой, на вид весьма тяжелое. Она шла одна, никто не семенил за ней, не сопровождал ее зайцем, прихвостнем. Челюсти ее были сцеплены намертво. Ксения, не думая, двинулась за ней. След в след. Снег летел на их узкие следы – в сапожке и босой.

Она шли, и шли, и шли. Улица подмигивала им с обеих сторон – вывесками харчевен, полымем ресторанов и кабачков.

Она свернула за угол – и Ксения, моментом. Она рванула на себя тяжелую резную дверь богатого особняка – Ксения тенью втекла в ледяную пустоту жилища. Она цокала по мраморной лестнице каблучками сапог – Ксения неслышно струилась за ней босым ручьем, затаив дыхание, затиснув кулаки себе под ребра. Это были Женщина и Тень. Женщина встала перед тупым молчаньем двери, набычив лоб, и постучала кулаком. Тень вздрогнула.

Дверь отлетела крылом. На пороге стояли двое. Рожи стражников, одеяния денди. Царь-баба ослепительно улыбнулась им. Они осклабились в ответ, сделали широкий приглашающий жест, издевательский. Да, Хозяин дома. Ждет. Телочку заказывали?! Рыба прыгает вон из сетей. Но прежде сама заходит в сеть. Когда зайдет, уж поздно. Рви узлы! Тело разрежешь. А кто это с тобой, сзади тебя?.. А никого нет. Вам, дуракам, померещилось.

Они тарачили свои глупые белые холопы зенки и словно бы не заметили Ксению. Тень, босая и тихая, ступала за Женщиной так, как волки в снежной степи, голодные, идут друг за другом – лапа в лапу, коготь в коготь. Охранники пялились и не видели ее. Они видели – что-то мреет; слышали – что-то шелестит. Может, поля роскошной дубленой шубы надменной гостью. Может, поземка залетела.

Каждый из них на самом деле видел ее. Но ни слова не сказал другому. Засмутился. Забоялся. Устыдился. Если тот молчит – а я-то зачем лишнего трепать буду?!..

Анфилады, вереница комнат. Колонны то обшарпанные, под седую древность сработанные, то гладкие, блестящие сладко, как сахар. В комнатах – елки, наваленные горками конфетти, висающие от угла до угла разноцветные ленты серпантина. И повсюду, там и сям – тела, тела. Люди, спящие вповалку. Дремлющие на диванах и в глубоких мягких креслах. Вот в калачик свернулись прямо на полу. Рты открыты в сладком храпе, в приторном медовом сновидении. Пирушка удалась на славу, еще допрежь Рождества. Не дождалось.

Люстры, погасшие и горящие, мелькали перед Ксеньиными глазами. Она скользила за красавицей-мужланкой бесшумно. Переступала через спящих людей, как через тюленей на лежбище. Человека с застывшим от ужаса лицом – видно, жуткий сон бедняге снился – украдкой покрестила. На влюбленных, слившихся в объятии – лежали друг на друге, друг в друге растворяясь – посветила улыбкой. Шли, шли дальше. Вот и анфилада оборвалась. Конец. Тупик. Полный куб каморы, обои с блестками. И здесь елка. Увита нитями, на них лампочки горят тигрино. И глаза дикой бабы в дубленке зверино горят. Что она держит на груди, под шубой?

Ксения глядела вперед. Под атласным, спадающим грубыми крупными складками, балдахинном смутно белело ложе. Горбатый выгиб дивана. Она прищурилась. Разметавшись пьяно и вольно, спал человек. Так спать захотел враз, что даже не стащил со лба новогодний маскарадный тюрбан. По полу, близ изголовья, валялись разбросанные бумаги, печатные листы, красивые картинки. Любовался на ночь. На столе, на расстоянии вытянутой руки, чтоб живо достать, – недоеденные яства: икра в фарфоровой миске, бутылки с темным и светлым вином, круги колбас, расковырянные вилкой рыбины, золотые бока лимонов, обкусанный сладкий пирог. Пирог! У Ксении остановились глаза, посветлели. Пирог, ее мечта. Ей никто и никогда не подарил ни платья, ни пирога к празднику.

Женщина, шедшая впереди, не глядя, взяла рукою пирог и жадно откусила от его. Снова кинула на стол. Другою рукой вытащила из-за пазухи топор.

Свет, брызжущий от ламп и елочных гирлянд, блеснул на широком лезвии топора. Женщина шагнула назад, и Ксения попятилась.

– Царь, кровосос, – негромко сказала баба с топором, – проклятый царь. Никто не смог. Все трясутся. Трусят. Ну, пожрал ты человечьей кровушки. Я одна насмелилась. Ты меня заказывал, ждал, да не дождался даже бабы. Обьелся. Храпишь. Сейчас тюрбан твой полетит. Господи, помоги.

Женщина быстро перекрестилась. Изумруды в ушах качнулись. Она высоко подняла топор и крикнула:

– Последние твои минуты, сволочь!

Ксения глубоко вздохнула и замерла. Взметенный топор опустился с хряском. Сильная баба сработала как заправский палач, перерубила шею с одного раза. Голова покатилась с постели, расшитый жемчугами и золотом тюрбан слетел, пропитался брызгами крови. Жен-

щина схватила голову за волосы и высоко подняла. Кровь лилась на простыни, на роскошную еду, в стаканы и недопитые рюмки. Женщина показывала казненного молчащей ночной спальне, словно морю людей на гудящей площади.

– Ты, кто стоишь за мной! – внезапно крикнула она, и Ксения похолодела. – Не двигаться! Держи!

Она протянула Ксении отрубленную голову. В усах и бороде мертвеца запутались крошки пирога. Ксения послушно вплегла пальцы в кудрявые волосы головы, сцепила в кулак. Боже, какая тяжелая голова человека.

– Ты, бродяжка, – женщина обернула к ней лицо, глаза ее дико смеялись, брызгали зелеными искрами, – не трусь. Я убила гада. Я убила толстую сволочь, владыку. Он пил кровь. Нашу с тобой. И других. Он ел наше мясо. Он гноил нас. На земле и под землей. И никто, никто...

Она задохнулась. Ксения безотрывно глядела на капающую вниз кровь. Скрюченные пальцы ее занемели. Язык распух во рту и не повиновался ей.

– ...никто не мог его уничтожить. Хотя очень все хотели. Громко вокруг об этом кричали. По углам шептались. Стонали. Проклинали. Но не могли. Не могли! А я смогла. Одна. Одна смогла. Не воинство! Не армия! Не наемники! Я одна!

Холодное молчание. Падение соленых красных капель.

– Держи голову тирана, девчонка. Присвой мой подвиг. – Красотка пугающе, грубо усмехнулась. – И наказание за меня прими. Сейчас сюда прибежит его стража. Дурачье. Охламоны. Он платил им драгоценностями из своих сундуков и девочками. Стой так! Не шевелись! Если шевельнешься... – Топор угрожающе высверкнул в пламени свечных языков. – Они возьмут тебя! Они подумают, что ты – это я! Пусть думают! Ха! Я знала, что ты за мной идешь. У меня глаза на затылке. Зачем шла за мной? Интересно было?! А если б я тебе топор показала по дороге, – пошла бы?!

Ксения ощущала глазами красивое тяжелое лицо убийцы.

– Пошла, – слово разрезало воздух, лязгнуло железом о железо.

Женщина окинула ее с ног до головы оценивающим и презрительным взглядом. Так глядят на умирающее животное, покалеченное под колесами.

– Ну и дура!

Повернулась, махнула хвостами дубленки, звякнула изумрудами, застучала, заколотила каблуками прочь, прочь, дальше, дальше – по сонному царству анфилад. Из далекой дали до Ксении донесся ее жесткий громкий голос:

– Не двигайся!.. Стой так!.. Молчи!.. Если дернешься – я тебя и отсюда достану!.. Это ты убила его!.. Ты!.. Ты!.. А не я!.. Когда тебя схватят, назовись моим именем!.. Ты прославишься!.. А я выйду через парадный ход!.. Как и вошла!.. Тебя выведут с головой на площадь – покажи ее народу!.. Пусть порадуются!.. Пусть покричат и посмеются, идиоты!.. Они даже ликовать не умеют!..

– Как тебя зовут?!.. – неистово крикнула Ксения в еловую свечную темноту анфилад, обернув негнущую шею. Рука немела. Голова, повисшая на волосах в кулаке, тяжелела.

– У-у-у!.. и-и-и-и!.. – невнятно и зловеще донеслось с далеких мраморных лестниц.

Ксения никогда не узнала ее имени.

В спальню ворвались люди, много людей. Стражники, охранники, повара, осветители, швейцары, блюстители порядка, дрессировщики с собаками, писаки, певцы, продирающие со сна и с похмелья горло, бедняки-приживалы, подвыпившие гости, пробужденные истошными криками, официанты, женщины с испитыми лицами, приставленные для уборки помещения: расширенные глотки их выталкивали гремящий воздух, лица пылали, руки мельтешили и сверкали растопыренными пятернями, кулаки сжимали тяжелые раззолоченные шандалы, раздавался звон наручников, в темном воздухе копошились и гремели проклятия, ругательства, возгласы изумления и ужаса; Ксения стояла молча. Вытянутая рука затекла. Под потол-

ком внезапно загорелся чудовищный цветок роскошной люстры. Свет брызнул и кинул в лица орущим и негодующим золотые сгустки Ксеньиных спутанных волос и яркие монеты глаз.

Один крик висел в воздухе: «Зачем?!.. Зачем?!.. Зачем?!..»

Ее схватили за плечи, затрясли. Затряслась и голова у нее в руке.

– Затем, – разлепила Ксения губы.

Воцарилась душная тишина. Народ перестал орать и метаться. В наступившей тишине голос Ксении резко раздавался и отливал металлом.

– Вот видите, что баба сделала. Одна баба, – слова из Ксеньиноного рта падали, как камни. – Одна баба. Жалкая. Слабая. Дура баба. Трусливая. Одинокая баба. Не вы! – Обвела глазами, выцветшими до бешеной светлоты, публику. – Не целая страна. Не огромный народ. Не толпа заговорщиков. Не революция. Не война. А баба. Просто баба. Баба с топором.

Передохнула. Все молчали. Под ногами Ксении разливалась темная сливовая кровь.

– Вяжите меня!.. Не можете?!..

Под ноги Ксении метнулась маленькая девочка с живой, громко закрикавшей уткой в руках. Мужик в кружевных манжетах зажал утке клюв кулаком.

– А серьги у нее – ух, красивые были... Изумрудные!.. – горько вскрикнула Ксения и заплакала, и отрубленная голова выпала из ее кулака с гремучим стуком и покатила по полу.

И утка вырвалась из девчонкиных рук и стала бегать и летать по комнате, и крикать безумно, сумасшедше, и ропот поднялся в толпе, и все решили, и поодиночке и скопом, что да, конечно, она сумасшедшая, эта перепачканная кровью рослая женщина, что если это она отрубила тирану голову, то сделала это наверняка во сне или в придури своей, и что больных не трогают, а скорей всего, еще одна баба тут замешана, иначе к чему болтовня про изумрудные сережки, или это пьяный бред, но ведь от нее не пахнет ни вином, ни водкою, и, пока все так гудели и переминались с ноги на ногу, порешили ее, Ксению, отпустить – тою дорогой, какой она сюда пришла. Ей закричали: «Иди! Иди отсюда!» – но еще долго стояла она над ворчащей толпой, обсуждавшей ее и указывающей на нее пальцами, как на редкое, диковинное и страшное животное, стояла и обводила сияющими правдой и победой глазами диких и непонятных ей людей, и каждый в толпе был ей родной и понятный, и каждого она могла и хотела пожалеть и согреть, а вместе, стадом и кучей, они пугали ее и гнали: «Иди! Иди же, тебе говорят!.. Пока гонят тебя – иди!..» И когда она решилась и пошла, то люди расступились перед ней, образовав два шевелящихся головами и телами берега пустоты, и в пустоте шла она к двери по анфиладам, шла к выходу, шла на волю.

Она шла на волю, потому что воля была ее, а она принадлежала воле, и за ней по всем спящим анфиладам тиранова дворца шла маленькая девчонкина утка, шла вперевалку, взмахивая пестрыми крыльями и резко крикая.

И так они вышли вместе, вдвоем, в свежую и снежную зимнюю ночь – женщина и птица. Ксения взяла утку на руки и прижала к груди. Происшедшее показалось ей сном, но это была правда, и Ксения печально подумала о том, что вот, где теперь она отстирает красные пятна, впитавшиеся в ее подол, где ей найти приют, где будет ее ложе в виде подстилки, таз, чтобы умыть унизанное холодным потом лицо и отстирать кровавый испод рубища. Теперь их стало двое – она и утка, и Ксения поняла, что вот едят птицу люди, а у нее появился друг; и как же она может его съесть? Даже умирающий от голода человек друга своего не съест, на то он и тварь, созданная по образу и подобию Божию; а им что в пропитание и на счастье эта ночь пошлет?

– Утка, утка, – шепнула Ксения в теплые пестрые крылышки, – я люблю тебя, утка. Я все живое люблю. И я сегодня голову мертвого человека держала; и я, будучи женщиной Катей, своего мужа убила. И ведь меня тоже недавно убили, милая утка. Убили. Разбили. Выбросили наземь из окна. Истерзали сперва, потом разбили о камни. И вот, утка!.. мы с тобой живы все равно. Как мне это понять?.. Где смерть, где жизнь?!.. Глупые мы с тобой, утка. Неразумные мы с тобой твари. Где наше пристанище, утка?.. Где наш притин?..

Утка молчала. Тесно, всем брюшком и воскрыльями прижалась к горячей Ксеньиной плоти. Утка знала, что за торчащими человечьими ребрами живет и дышит душа – малая живая душа, отвечающая кряканью – дыханьем, биению крыльев – биением крови. И, счастливая этим прижиманьем, прикосновеньем этим любовным и животным, прятала птица круглую теплую, как вареное яйцо, голову под мышку Ксении, и целовала Ксения птицу в затылок, и плакала от радости, что вот сколько смертей с ними было, а они спаслись; и глядела на румяные сладкие витрины, где вповалку лежали ветчины и сыры, бархатные ткани и заморские орехи, глядела на елки, несомые веселыми и грустными живыми людьми, и шептала птице в затылок: «Ничего, ничего!.. Будет и нам сегодня праздник!.. Не все же нам горе горькое!.. Будет нам и елка сегодня, и Рождество!.. Будет крендель, и свечи будут!.. Как в детстве!.. Как тогда!..»

И вот она, елка. Площадная девка; дылда занебесная. Вокруг крестовины, запрятанной в железный барабан, гуляла и взывала поземка. С черных ветвей свешивались бумажные рыбы, дикарские яркие шары, распотрошенные шпаной хлопושки. Какие сережки на тебе, родная! Какие ожерелья!

Холодно тебе тоже, милая?..

Пряничка бы тебе... мандаринчика...

Ксения села под елку, прямо на снег. Спрятала утку глубоко за пазуху. Вздохнула. Против ее щеки горела выкрашенная дешевой краской лампада гирлянды.

У нее была елка; был праздник; был друг; была жизнь.

Оставалось, для полного счастья, запеть песню.

Ксения набрала в грудь морозного воздуха и запела.

Птица слышала ее пение, сидя за пазухой, и перебирала лапками от удовольствия и тепла.

Одинокое, припозднившиеся к праздничному столу ночные прохожие, столичные пьяницы, краснощекая молодежь, спешащая из гостей в гости, бродяги и богачи, останавливались близ поющей под елкой женщиной в мешке, ухмылялись, кидали на снег монеты. Старуха, в шали накрест, замедлила шаг, пошарила за пазухой, склонилась и кинула на колени Ксении черствую булочку – сахарное сердечко.

– На, поешь.

– Я люблю тебя, старуха. С днем рожденья Господа нашего!

И, пока горбатая от годов и болезней спина шаталась, удалялась в метели и зачеркивалась белыми полосами времени и снега, Ксения раскрошила на ладони булку, вынула утку голову из-за пазухи, поцеловала в фосфорный зеленый глаз и поднесла ладонь с крошечком к голодному клюву: ешь, ешь. Вот он теперь и настоящий праздник.

Ешь; радуйся; живи.

Ведь снег все укроет. Все заметет. И нас с тобой.

А хорошо, утка, еще раз умереть в праздник.

*«Плачу горько пред Тобою, Мать,
Возлюбившая все грешные души мира,
Пресветлая Богородица, Солнце жизни нашей,
плачу и каюсь пред Тобой
во грехах и страстях юности моя:
услышь мя, утеши мя, прости мя».*

Канон покаянный св. Ксении Юродивой

Глава четвертая. Милостыня

*«Вспоминаю день Пресветлый
встречи моей с Тобой,
Возлюбленный, Единственный мой Боже;
благословляю легкое дыхание Твое
и ясные глаза Твои,
и, если бы Ты возвратил землю на круги своя,
я бы так же мыла Тебе ноги в медном тазу
и золотыми косами своими утирала,
целуя и плача».*

Кондак во славу Господа св. Ксении Юродивой Христа ради

(РИСУНОК К ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ: АГНЕЦ – СИМВОЛ ГОСПОДА ИИСУСА)

Кондак Ксении во славу огня Божьего

Ветер дул, гонял меня туда, сюда. Утку я кормила корочками, хлебцем из харчевен; где крохи рукавом со стола смету, где мне сердобольные раздатчицы в мешочке вынесут. Плачут, глядя на меня. Добрые люди! Я всегда знала, что мир добр. Злой он стал потому, что один из Ангелов согрешил. Подумать, что ты превзошел Господа! Да я на утку эту гляжу – она и умней, и красивей, и лучше меня. Она тварь бессловесная. А я мысль свою облечь в слова могу, да шаг шагну – и в яму попаду. А она чует верно, куда лететь, куда лапкой ступить.

А я летала по ветру, ветром гналась – так вот и было все, и искала я, где мне голову приклонить. Я многое могла к тому времени внутри себя и снаружи. Я боялась показать силу: мне чудилось, что воскреси я либо излечи прилюдно – и люди сочтут это показною похвальбой, крикнут мне обидно: «Эка грудь выпячивает!.. Фокусы нам кажет!..» В настоящей правде народ вечно видит неправду, и попробуй ему докажи! Я ходила с правдой внутри, и я искала себе жильё для жизни; истаивала в теплом воздухе зима, шла мягкими стопами по облакам грязная красивая девочка весна, шла по Великому посту, шла по Страстной неделе, шла мимо сытых морд и испитых нищетой ликов, а я ночевала с уткой под мышкой не знаю где, где придется, на высоких этажах длинных костлявых домов под пожарными лестницами, на чердаках, в углах огромных залов, где из прозрачных стеклянных кабин можно докричаться до другого города и даже до далекой страны, в закутках рынка на мешках и ящиках, на изломанных креслах сумасшедших вокзалов, пока однажды, в Страстной понедельник, не заловила меня на базаре бойкая черноглазая девица, а сидела я на куче срезанных веток близ бочки с мочеными яблоками, цапнула меня за холодную на ветру щеку да скажи возьми: «Побирушечка!.. А дурочка!.. Тебя тут наши бабы пожалели, так ты приходи навек к нам в дом спать, тут рядом, на Преображенке, вон он, видишь, слепуха!.. – кургузый такой, откуда видать. Там народу смерть много живет, но он не вредный, там и приголубят, и наругают, если надо, а бабы наши страх любят убогеньких, они тебя давно в городе приметили, как ты везде шатаешься, на худобу твою ужаснулись, мне велели тебя притащить, так ты уж не обмани, приходи!.. И постеля тебе будет!.. И харчи!.. Картоха-моркоха... Ты им – коленце выкинешь какое, они тебе – картохи!.. Вымоют тебя, ванна там у нас чугунная, со львиными лапами...» Я вцепилась в нежную руку девушки с крашеными ноготочками, утка закрякала у меня под мышкой. «Как не прийти!.. Присмотрели меня... Бабы ваши, случаем, не в Райском Саду живут?..»

Райский Сад оказался черной, поганой, выцветшей от сажи, от чада и вони прогорклым салом коммуналкой, и в длинном горле коридора люди застревали, как кости – пыльная лампа под потолком то горит, то умирает. Я влетела с уткой в руках в кухню – птицу стали тут же рвать у меня из рук, причмокивать: «Эх, хорошо!.. Видишь, блаженненькая умница, к столу не пустая явилась, дичь притащила!.. сейчас ощищем, бабы, кто у нас самый смелый, нос и рот тряпкой перевяжите, чтобы пух в дыхалку не забился, и вперед!..» Я крепко прижала к себе утку. «Она священная. Не дам. Это птица предсказаний. Каждое ее перо – любовь. Ее Христос в руках держал. Если вы ее зажарите и съедите – жизнь свою съедите». Бабы зашлись в хохоте, в конском ржании, затопали ногами от веселья. Перевязанные платками лбы, глубоко посаженные горящие глаза. Руки грубые, топорные, униженные гроздьями мозолей. Поперек лиц, поперек ладоней и предплечий – плохо заросшие шрамы. «Заводские мы, што пялишься?.. У нас и без тебя ртов тут хватает. Не знаем, куда своих деть. Да о тебе всякие слухи идут. Что ты беду отводишь. Хворь сгоняешь. Что ты девка веселая. Поживи у нас, а?.. Не обидим. А воробей твой – шут с ним! Ни навару, ни жару. Если ты такая гадальщица – погадай, а?!..»

И столпились все вокруг меня, в кухонный угол зажали.

Лица румянятся, скулы топорщатся, зубы блестят.

Из-за немой сальной плиты выкатилась старуха с черным прокопченным лицом, когтистыми лапами. Пролезла сквозь баб. Прилипла ко мне плечом, дыханием, коготочками зацарапала мой локоть, мешковину наряда. «Дайте ей хлеба, потом огород городите!.. Ешь, бедняга, ешь, страдалица, ешь...» Я сидела за колченогим столом, и мне в тарелки и миски крошили лук, чеснок, сыпали из черных сковородок жареную картошку, похожую на мусор, брызгали в кружки жидкий компот, спитой чай, и вдруг чей-то дикий голос из-за скученных потных голов заверещал: «А водки!.. Водки-то налейте ей!.. С позавчерашней свадьбы-то осталось!.. Где банка, Манька?!..» Со дна круглой кривой банки, смахивавшей на отрубленную голову, – меня покорежило от воспоминанья, – слили подонки в битую и трещиноватую фаянсовую емкость, и пахло тошнотворно-сладким самогоном. Бабы дружно закричали: «Вы-пей! Вы-пей!» Я выпила послушно, и чужая рука заботливо положила в мой открытый обожженный рот кусок селедки. «Как Царицу тебя встречаем!» – и гогот опять поднялся до потолка, потонул в извивах копоты.

Когда я насытилась и запьянела, меня потащили в каморку, где громоздилась чудовищная ванна, величиной с кузов грузовика, на четырех ржавых львиных ли, медвежьих ли лапах. Бабы сдирали с меня одежду, как осенние листья. Мой мешок с горловиной-дырой полетел в мыльный таз, я полетела в скользкую глубину ванны, зверьи чугунные лапы содрогнулись от слоистой тяжести воды, и сквозь хлорную синеву я увидела свои нагие руки и ноги, худые и жалкие.

– Мыла, мыла сильнее на мочало поддай!..

– Да, заржавела попрошайка...

– Как хоть тебя зовут-то, несчастненькая?..

– Да не зовут, а спину, спину ей три, чтоб скрипело!..

Бабы топтались и грохотали вокруг меня, вода взбучивалась и вздымалась белыми горами от остро пахнущего стирального мыла, в утробу ванны лились кастрюли кипятка, чан горячни опрокинули мне на голову, и длинные, до пят, мои волосы повисли вдоль боков мертвыми змеями; а бабы смеялись, терли меня беспощадно, переругивались беззлобно, и я, сидя по горло в кипящей ванне, понимала блаженно, что вот она есть какая, людская любовь: не та, которую ты даришь, но та, которую, невесть за что и почему, дарят тебе. И я глотала мыльную воду, и закрывала воспаленные мылом глаза, и смеялась пьяным смехом любви и блаженного счастья.

Накупанную, растертую нафталиновыми старыми тряпками, меня уложили в постель. Такой постели не было у меня еще в жизни. Она была настоящая. Она была чудесная, как сон.

Громоздкая, сколоченная из разномастных досок широкая кровать, ватный матрац, застиранное до дыр, рьяно проглаженное белье. Белье пахло вместе травой и снегом, и меня опустили в кровать, как в могилу: я уже ничего не видела, не слышала. Последнее, что донеслось:

– Манька, а правда... она нам... беду отведет?..

Не знаю, сколько дней и ночей я спала, впав в беспамятство. Пробудил меня страшный крик. Крик вставал стеной, вонзался в уши, под ребра:

– Пожа-а-а-ар!.. Гори-и-и-им!..

Я вскочила на ноги одним прыжком. Людской муравейник вокруг меня гремел и стучал. Из квартирок и кладовок по обе стороны коридорной трубы вытаскивали и вытряхивали пожитки, немудрящий скарб, стаскивали и скатывали кубарем по лестнице, стремясь спасти хоть что. Вопили в люльках и колясках дети, кто постарше – в трусах, в дырявых майках – стоял в дверях, пялясь на огонь, о огонь бушевал! «Сонька!.. Пожарных вызвала?!..» – «отчего занялось-то?!..» – «А это Аракелыч, так и так его, утюг в кладовке зажженный оставил!.. Рубашечку, вишь, погладить захотел!.. Сто лет дурню скоро стукнет, в гроб пора, а туда же – рубашечку!..» – «Детей, детей-то упасите, вниз кидайте!.. На Аньку пальто! Пальто!.. Простудится!.. Петьку в одеяло заверни!..»

Огонь гудел грозно, неумолимо. Огонь был голоден, и ему нужно было торопиться. Меня, голую, застывшую в проеме дверей, узрела баба, одна из здешних баб, шатнулась ко мне и заорала прямо мне в лицо:

– Сволочь!.. Шалава рыночная!.. Еще купали ее!.. Дрыхла без просыпу!.. Ты, ты горе накликала!.. Ведьма ты, вот ты кто! Говорила я Маньке, не надо было тебя с базара приглашать, нет, уперлась она, только и балабонила, что ты нам чудо принесешь!.. Вот оно, твоё чудо, дура! Гляди, собака, – детки погибают!.. Это ты, все ты!

Белое бешенство загорелось в свинячьих крохотных глазках бабы. Она выбросила вперед кулак и завизжала тонко:

– Хватай ее да в огонь! И все сразу хорошо будет!

Ползающие и машущие лапками людские муравьи сбегались на крик, подобрались ко мне ближе. Я видела рядом с собой жадные глаза, хваткие руки; слышала частое дыхание отчаяния и веры, слепой и глухой. Я поняла, что сейчас они схватят меня и, под гармошку всеобщего гнева и горя, кинут в огонь недолго думая.

Кухня, где меня кормили и купали, уже вся была схвачена огнем, и пламя вылетало наружу, на ночную улицу, из распахнутых окон. Горели старые сундуки. Из рук на руки бросали грудников в обгорелых пеленках. Старики волокли вдоль половиц допотопные корзины с никому не нужным звенящим рыболовецким барахлом. Народ, приступивший ко мне, жалости не имел. Он имел в груди только одно – веру, без глаз и ушей. Старую, как сундук. И он хотел отомстить.

– Хватай дуру! Сожги! Наведьмачила!

Коренастые дядьки, мужья и хахали баб, приступили ко мне. Глаза их судорожно ощупали мою голизну. Один ухватил меня за локоть, другой – за лодыжку. Я повисла в горячем черном воздухе на живых и жестоких руках.

– Кида-а-а-ай!..

И меня кинули в огонь, и пламя встало вокруг меня, и пламя имело людские руки, и ноги, и головы, и глаза, имело людскую речь и орудия людские глотки. И пламя обняло и поглотило меня. И было мне больно очень, и я стала одною широкой глоткой и страшно закричала сама – на весь свет, на весь широкий мир закричала я.

И в тот миг, как я извергла из себя крик, я увидела:

Ектенья Ксении о чудесном спасении ее от всесожжения

.....я увидела, что привязана я пеньковыми веревками крест-накрест к гладко оструганному столбу, и белое полотняное платье на мне, и под ногами у меня вязанки хвороста, щедро вязанок навалено, глаз не обнимет. И толстый мужик в балахоне, на свинью похожий, с лысиной, жирно блестящей в сполохах огней, тычет мне в лицо деревянным крестом, из двух прутов связанным, к губам моим прижать норовит, и за сизыми и черными валами дыма и гари, клубящимися от костра, вижу многий народ – головы, волосы, очи и зубы, и распяленные пятерни, и высунутые языки, и красные пещеры глоток, и вскинутые кулаки, и детей, сучащих ножонками, высоко поднятых над человеческим варевом; народ кричит и безумствует, народ бесится и вопит, радуется и плачет – что он хочет выкричать мне, мой народ, мне, накрепко привязанной к столбу? Что я виновата, а он невиновен? И без него я это знаю! Жгут меня! Жгут мою жизнь! Мою любовь! Мое счастье, мою святыню, мою веру! Все мое жгут вместе со мной! И народ радуется и вопит! Зачем ты радуешься, мой народ?! Ведь так, как я любила тебя, любить тебя уже никто не будет. Что тебя так веселит? Что пепел мой лечебный соберешь, по сожжении, в ладанки на счастье, на исцеление малым детям?! А живую меня, исцеляющую и любящую, – не хотел полюбить?!..

Я и руки к тебе не протяну: связаны!

Ветер, раздуй огонь сильнее! Помоги мне! Пусть скорей лопнут от жара мои глаза! Пусть я никогда не увижу рты в радостных оскалах! Жестокие лезвия глаз! Вот она, правда. Человек ненавидит человека. Человек с наслаждением убивает человека. Где же тут любовь?! Зачем мы говорим: «люблю» – и обманываем друг друга, с тем, чтобы назавтра растерзать любимого и сжечь?!

И вот она, опять старуха из толпы! Щиколотки мои, голени, кисти уже обгорели, кожа вздулась на них пузырями, но не добрался еще огонь до глаз, до лица. Старуха шаст в огонь, и руки мне от столба отвязывает, и ругань крепкую бормочет, и дышит в меня гнилыми зубами, драконовой пастью, и пеньку последним зубом рвет и грызет, меня освобождая и выпрастывая, и поперек плеча, на себя, как на лошадь, меня кладет, а чувств человеческих во мне уже нет, и волосы мои горят, а старуха засовывает себе в черный рот горящие концы моих волос, съедая огонь, запивая его огнем. И несет старуха меня на себе, несет прочь от огня, от кострища, вон уносит от места казни. И ругань страшна в ее дырявых устах.

И я плачу, лежа животом у нее на костлявом плече.

И старуха тащит меня долго, упорно, по камням и пыли, по плитам и по лестницам, и, наконец, бросает под каменным сводом, внизу, там, где свалены в кучу шмадь, чемоданы, коляски, убогие мебели, целованные огнем, и в стогу выпотрошенной человеческой жизни я, полуслепая от огня, нахожу свой мешок с горловиною в махрах, старательно отстиранный бабами, веревку, поясом мне служившую, и торбу, в которой черствые корки таскала; а где моя птица?

Перед выгоревшим дотла домом, в радостном свете весеннего Солнца, вижу: вот обожженные перья, вот косточки лапок. Вкусно пахнет жареным. Лопнул от жара птичий глаз. Вот оно. Так, как хотели бабы. Вкусного они хотели. Так и получилось. Ешьте теперь. Жрите. Несыти.

Слезы вяжут и борют меня. Слезы крутят меня и ломают. Неужели птичку, зверька можно так любить, как человека? Больше, чем человека? А над матерью я как плакала – так или горше?!

Никого, никого не любила так, как тебя, птичка.

Два пацана, приманенные пожаром, воззрились на то, как тетка, одетая в мешок, мнет и обнимает ладонями ком жареного – то ли утку, то ли курицу, заходясь в неистовых рыданиях.

Я подняла глаза, увидела голодно сверкнувшие зубы. Берите, ребята, ешьте. Я не жадная. Это был мой друг. Я так любила его.

Полиелей Ксении о подававших на площади милостыню ей

Есть большое блюдо дымной площади в самой сердцевине града Армагеддона: по закраине блюда, в золотой пыли и в серебряном снегу, стоят три вокзала, и от их шатров уходят обозы вагонов, расплзаются змеи поездов в двенадцать сторон белого света. Вокзал – что за место для жизни? Я теперь была погорелица. Все мы погорельцы, живущие; то и дело горит наш дом, и мы, поплакав и поплевав на дрожащие руки, строим новый; а нет сил строить – помираем.

Огонь мотался у меня перед глазами, и я хотела забыть, как горел дом, и уехать из безумного града. Как уезжают?.. – забьются куда-нибудь на багажную полку, скрючатся на корточках в три погибели в заметленном тамбуре. Денег у Ксении нет, отродясь не бывало. Куда ты хочешь уехать, Ксения?.. А куда Бог пошлет. Слушаюсь Его приказа. А слышишь ты Его голос?.. Не слышу: молчит. Так сиди на вокзале, коротай земное время. Выбери себе вокзал. Их три. У них есть имена. У них есть украшения – башенки и изразцы. Самый красивый – Казанский, с башенкой, посвященной татарской царевне Сююмбике. Отсюда идут поезда в Азию, в снега и пески. Цветные тубетейки влиты в затылки. Меха обнимают женские лица. Старухи с красными лбами и щеками вроде дубовой коры плюют в тебя белыми и черными семечками. Дети на грязном полу играют в любовников, грызут мороженое. Дорога, поиграю с тобой в любовь. Но не дамся так скоро. Еще посижу на вокзале, среди узкоглазой, лоснящейся жиром, грязью, румянцем толпы, еще потяну руку, еще попрошу. Я никогда еще так не просила. Нет для меня страдания в просьбе; нет унижения. Каждое лицо люблю. Каждой руке поклонюсь. Улыбнусь руке дающей. Заплачу над рукой терзающей. Кто мучитель, кто мученик? Вот подбегает девочка, изо всех сил ударяет меня ногой. И я изо всех сил улыбаюсь ей и говорю молча: «Сильней, крепче. На драку и на любовь должно у человека сил достать. Даже если ты маленький человек.»

Так села я на Казанском вокзале и стала молчать, и молчание мое звучало как просьба; как улыбка; как упрек; как песня; как обвинение; как мольба, и еще по-всякому оно звучало, и всяк по-своему слышал и понимал его. Для толкающихся кругом меня, гомонящих и опаздывающих людей я была просто нищенкой, восседающей на заплеванном вокзальном полу. Страстной вторник, а мусульмане знай жуют себе и пирожки с мясом, и чебуреки; а хоть бы ты и крещеный, все равно беляш терзаешь, полный сока. Убиенные звери. Простите людям. Человек придумал пост для любви; много чего человек для любви придумал, не для мучения. Но наслаждение слишком близко, а любовь слишком далеко. Подайте, добрые граждане, на горбушку да на чекушку Господней грешнице, рабе! Колеса шуршат. Поезда гудят. Она одна сидит посреди люда и гуда и молчит.

Подают.

Тяну руку – в голую руку кладут. Когда что. Когда и посмеются: горячей сигаретой ткнут. Я ладонь отдерну, охну. Смолчу. Что толку кричать и плакать? Если можешь терпеть – терпи. Когда вместо еды или бумажек с цифрами булжничник положат. Положат и глядят: а ну, как рассержусь да кину. Вот веселье будет, скандалу, визгу. А я камень к губам поднесу, тихо поцелую, благодарно на дающего посмотрю и молчу. Опять молчу. Пугаются. Отходят медленно. Идут прочь и оглядываются. Шаг ускоряют, бегут. Кто конфетную обертку сунет, губу над зубом в ухмылке задерет. Я обертку нежно расправлю и какому дитенку подарю. Особенно если бедный дитенок, радуется: игрушечка, бабочка цветная, яркая. И мне счастливо, и малому радостно. А тот, кто дал? Никогда он нашей радости не поймет. И жалко его, еще жальчей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.